Винтаж

Тартарен из Тараскона

Альфонс Доде



3. Порт-Тараскон
Альфонс Доде

Аннотация
Альфонс Доде. Тартарен из Тараскона
КНИГА ТРЕТЬЯ. Порт-Тараскон. Последние приключения славного Тартарена
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Жалобы Тараскона на существующий порядок вещей. Быки. «Белые отцы». Тарасконец в раю. Осада и капитуляция Памперигустского аббатства
II. Аптека на Малой площади. Появление северянина. «С нами бог, ваша светлость!» Рай за морем
III. «Порт-тарасконская газета». Добрые вести из колонии. В Полигамии. Тараскон готовится сняться с якоря. «Не выезжайте, ради бога, не выезжайте!»
IV. Погрузка дракона. «Полный вперед!» Пчелы покидают улей. Запах Индии и запах Тараскона. Тартарен изучает папуасский язык. Дорожные развлечения
V. Подлинная история Антихриста, рассказанная его преподобием отцом Баталье на палубе

«Туту-пампама»
VI. Прибытие в Порт-Тараскон. Никого. Высадка ополчения. Апте… Безю… Бравида устанавливает связь. Ужасная катастрофа. Татуированный аптекарь
VII. Продолжайте, Безюке… Кто такой герцог Монский: обманщик он или нет? Адвокат Бранкебальм. Verum enim vero, «постольку» из «поскольку». Плебисцит. «Туту-пампам» исчезает вдали
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. Порт-тарасконский мемориал. Дневник секретаря Паскалона
II. Бой быков в Порт-Тарасконе. Приключения и схватки. Прибытие короля Негонко и его дочери Лики-Рики. Тартарен трется носом о нос короля. Великий дипломат
III. Дождь все идет. Повальная водянка. Суп с чесноком. Приказ губернатора. Чесноку не хватит. Чесноку хватит! Крестины Лики-Рики
IV. Продолжение Паскалонова «Мемориала»
V. Появление герцога Монского. Бомбардировка острова. Нет, это не герцог Монский. Спустите флаг, черт побери! Тарасконцам дается двадцать четыре часа на эвакуацию, хотя судна у них нет. Все, разделяющие с Тартареном трапезу, клянутся

последовать за губернатором в плен
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I. Прием, оказанный англичанами Тартарену на борту «Томагавка». Последнее «прости» острову Порт-Тараскон. Губернатор беседует на палубе со своим маленьким Лас-Казом. Костекальд отыскался. Супруга командора. Тартарен первый раз в жизни стреляет в кита
II. Обед у командора. Тартарен выделывает па фарандолы. Как лейтенант Шип определил тип тарасконца. В виду Гибралтара. Месть Тараска
III. Продолжение Паскалонова «Мемориала»
IV. Судебный процесс на юге Франции. Сбивчивые показания. Тартарен клянется перед богом и людьми. Тарасконские узорщики. Рюжимабо съела акула. Неожиданный свидетель
V. Бомпар перешел мост. История письма за пятью красными печатями. Бомпар призывает, в свидетели весь Тараскон, но на его призыв никто не откликается. «Да прочтите же нам наконец письмо, черт бы вас побрал!» Лгуны северные и лгуны южные
VI. Продолжение и окончание Паскалонова «Мемориала»
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

Не каждому автору удается создать литературный персонаж, чье имя станет нарицательным. Французскому писателю Альфонсу Доде это удалось. Герой его трилогии — Тартарен из Тараскона, трусоватый, хвастливый, неистребимо жизнерадостный авантюрист, в котором соединились черты Дон Кихота и Санчо Пансы, прославил Доде на всю Европу. Третья её книга «Порт-Тараскон» посвящена печальным приключениям постаревшего Тартарена на острове, затерянном в Тихом океане.

Альфонс Доде
Тартарен из Тараскона

КНИГА ТРЕТЬЯ. Порт-Тараскон. Последние приключения славного Тартарена

Леону Аллару, тонкому и глубокому романисту, автору «Вымыслов» и «Молчаливых жизней», его собрат и друг Альфонс Доде посвящает эту юмористическую книгу.

Это было в сентябре, и это было в Провансе, во время сбора винограда, лет пять-шесть тому назад.

Сидя в большом экипаже, запряженном парой камаргских лошадей, мчавших во весь дух поэта Мистраля, моего старшего сына и меня на тарасконский вокзал к скорому поезду Париж — Лион — Марсель, мы любовались угасавшим днем, матовым, бледным от зноя, истомленным, пылким и страстным, как лицо прекрасной южанки.

Несмотря на быструю езду, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. По обочинам рос испанский тростник, стройный, негнущийся, с длинными лентовидными листьями. И на

всех этих проселочных дорогах, белых как снег, неправдоподобно белых, покорно хрустел песок под колесами и длинной вереницей тянулись тележки с черным виноградом, но только с одним черным, а сзади молча и чинно шагали рослые, статные, длинноногие, черноглазые парни и девушки. Всюду, куда ни посмотришь, целые гроздья черных виноградинок — в плетушках, в чанах; всюду, куда ни посмотришь, целые гроздья черных глаз — под загнутыми полями войлочных шляп виноградарей, под головными платками, концы которых женщины держали в зубах.

Порою где-нибудь на повороте в безоблачное небо упирался крест, на перекладине которого, с обоих концов, висели тяжелые черные гроздья, кем-то подвешенные по обету.

— Глянь!.. — умиленно шептал мне Мистраль, с почти материнской гордостью улыбаясь этим проявлениям наивного язычества его родных провансальцев, а затем возвращался к своему рассказу, к какой-нибудь прелестной, благоуханной и златотканной сказке, рожденной на берегах Роны, — сказки эти он, как некий провансальский Гете, рассевал направо и налево обеими своими щедрыми руками, одна из которых — поэзия, а

другая — правда[1].

О, словесное колдовство, о, чудодейственное сочетание времени дня, окрестных видов и величавой народной легенды, свиток которой поэт развертывал перед нами, пока мы ехали по узкой дороге, меж оливковых деревьев и виноградных лоз!.. Как хорошо мне было тогда, какой безоблачной и легкой казалась жизнь!

Внезапно глаза мои затуманились, тоска сжала мне сердце.

— Какой ты бледный, папа! — сказал мой сын.

А я едва нашел в себе силы прошептать, показывая на замок короля Рене, все четыре башни которого глядели, как я мчусь к ним из полевой дали:

— Тараскон!

Дело в том, что у меня с тарасконцами старые счеты. Я знал, что они на меня в большой обиде, что они на меня очень сердятся за мои шутки над их городом и над их великим человеком, знаменитым, бесподобным Тартареном. Я часто получал анонимные письма, угрожавшие мне: «Попробуй только проехать через Тараскон!» Другие обрушивали на мою голову месть героя:

---

[1] Примечания: 1

Намек на автобиографию Гете «Поэзия и правда. Из моей жизни» (1809-1830).

«Трепещите! У старого льва есть еще клюв и когти!»

Лев с клювом! Вот тебе на!

Но это еще что: начальник областного полицейского управления сообщил мне, что на одного парижского коммивояжера, на свое несчастье оказавшегося моим однофамильцем, а может быть, просто желавшего втереть людям очки, прибывшего в гостиницу и расписавшегося в книге для приезжающих: «Альфонс Доде», напали в дверях кафе какие-то грубияны и чуть было, по местному обычаю, не искупали в Роне:

Охотой иль неволей,
Но только в эти дни
Из башен Тараскона
Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они.

Этот старинный куплет 93-го года распевают здесь и поныне и снабжают мрачными комментариями, поясняющими драму, свидетелями которой явились в те времена башни короля Рене.

Итак, мне не очень улыбалось, чтобы меня вышвырнули из башни Тараскона, и я, странствуя по югу, всегда старался объезжать этот милый

город. Но на сей раз злая судьба, желание обнять моего дорогого Мистраля, возможность попасть на скорый поезд только в Тарасконе — все это бросало меня прямо в пасть ко льву с клювом.

Один Тартарен — это бы еще куда ни шло: встреча с ним лицом к лицу, дуэль на отравленных стрелах под сенью деревьев Городского круга меня бы не испугала. Но гнев народа, и потом Рона, глубокая Рона!..

Ах! Смею вас уверить, что путь романиста не сплошь усеян розами…

Но — странное дело! Чем ближе мы подъезжали к городу, тем пустыннее становились дороги, тем реже попадались тележки с виноградом. Некоторое время спустя мы уже ничего не видели перед собой, кроме безжизненной белой дороги, а кругом царили простор и безлюдье глуши.

— Чудно! — тихо сказал слегка озадаченный Мистраль. — Можно подумать, что сегодня воскресенье.

— Если б воскресенье, звонили бы колокола… — так же тихо ответил мой сын, ибо в тишине, окутывавшей и город и предместье, было что-то подавляющее. Ни удара колокола, ни крика, ни звона наковальни, всегда так явственно слышного в струящемся воздухе юга, ничего. Но вот в

конце дороги показались первые здания окраины — маслобойня, свежеоштукатуренная таможня. Приехали.

Каково же было наше изумление, когда мы, въехав на мощеную улицу, обнаружили, что здесь никто не живет: двери и окна заколочены, ни кошек, ни собак, ни ребят, ни кур — ни души; у закопченного входа в кузницу нет больше двух колес, которые прежде стояли здесь по бокам; высокие рамы с сеткой, защищавшие тарасконские дома от мух, убраны с порогов, — они исчезли, как и сами мухи, как и чудесный запах супа с чесноком, запах, который в этот час клубами вырывался из кухонь.

Тараскон больше не пахнул чесноком — можете себе представить!

Мы с Мистралем в ужасе переглянулись. И то сказать: было от чего прийти в ужас. Приготовиться к реву разъяренной толпы, а вместо этого обрести мертвую тишину Помпеи!

В городе, где мы знали всех домовладельцев по именам, где каждая лавчонка была нам знакома с детства, ощущение пустоты и заброшенности еще усилилось. Закрыта аптека Безюке на Малой площади, оружейный магазин Костекальда тоже закрыт, кондитерская Ребюфа, где продавались

«наилучшие» леденцы, тоже. Исчезли дощечка на двери нотариуса Камбалалета и написанная на полотне вывеска Мари-Жозефа-Спиридиона Экскурбаньеса, изготовителя арльской колбасы, — надо вам сказать, что арльская колбаса всегда изготовлялась в Тарасконе, считаю своим долгом указать на этот исторический парадокс.

Но что те все-таки сталось с тарасконцами?

Мы ехали мимо Городского круга, под прохладною тенью платанов, поднимавших гладкие белые стволы на равном расстоянии один от другого, и не слышали стрекотанья цикад. Цикады — и те улетели! А перед домом Тартарена, домом с закрытыми ставнями, таким же слепым и немым, как и дома соседние, у низкой ограды знаменитого садика не осталось ни одного ящика для чистки обуви, и никто не кричал: «*Пчистим, гаспдин*?»

— Уж не холера ли? — сказал кто-то из нас.

В самом деле: когда в Тарасконе бывает эпидемия, население уходит из города, разбивает палатки на значительном от него расстоянии и пребывает там до тех пор, пока не пройдет зараза.

При слове «холера», которого все провансальцы безумно боятся, кучер ударил по лошадям, и

несколько минут спустя мы подъехали к лестнице вокзала, который находится на одном уровне с высоким виадуком, возвышающимся над городом.

Здесь жизнь била ключом, слышались человеческие голоса, мелькали человеческие лица. По расходившимся во все стороны рельсам беспрерывно катились поезда, брали подъем, шли под уклон, останавливались, и тогда хлопали дверцы вагонов и выкрикивались названия станций:

— Тараскон! Поезд стоит пять минут… Пересадка на Ним, Монпелье, Сет…

Мистраль побежал к начальнику станции, старому служаке, уже около тридцати пяти лет протрубившему на этом вокзале.

— Э, господин Пикар!.. А тарасконцы? Где же они? Что вы с ними сделали?

Начальник станции подивился нашей неосведомленности:

— Как?.. Вы ничего не знаете?.. Да вы что, с луны свалились?.. Газет не читаете?.. А ведь тарасконцы раззвонили на всю вселенную о своем острове — острове Порт-Тараскон… Да, да, почтеннейший… Тарасконцы уехали… Уехали во главе со знаменитым Тартареном основывать колонию… И увезли с собой все, захватили с собой

даже Тараска!

Тут он нас оставил и пошел на линию, чтобы отдать распоряжения, кого-то подстегнуть, а мы стали смотреть вниз, где в лучах заката высились башни, колокольни и колоколенки брошенного города и его древняя крепостная стена, которую солнце так чудесно разрумянило, что ее, право, можно было принять за поджаристую корку от паштета из дичи.

— А скажите, господин Пикар, — спросил Мистраль у начальника станции, с добродушной улыбкой возвращавшегося к нам и, по-видимому, нимало не огорченного кочевничеством Тараскона, — как давно они эмигрировали?

— Полгода назад.

— А какие-нибудь сведения о них есть?

— Никаких.

Увы! Некоторое время спустя мы получили эти сведения, сведения подробные и точные, что и дало мне возможность рассказать вам об исходе доблестного маленького народца, последовавшего за своим героем, и о посыпавшихся на тарасконцев бедах.

Паскаль сказал: «Нужно, чтобы было и утешительное и истинное, но нужно, чтобы и это

утешительное было основано на истинном»[2]. В истории Порт-Тараскона я пытался следовать его завету.

Мой рассказ основан на истинном, составлен по письмам эмигрантов, по «Мемориалу» юного секретаря Тартарена, по материалам, заимствованным из «Судебной газеты», и если все же вы кое-где наткнетесь на какую-нибудь из ряда вон выходящую тарасконаду, то, лопни мои глаза, не я ее выдумал![3]

Автор

---

[2] Примечания: 2

Цитата из книги французского физика и философа Блеза Паскаля (1623-1662) «Мысли».

[3] Примечания: 3

Отсылаю читателей к газетам, в которых двенадцать лет назад освещался процесс «Новой Франции» и колонии Порт-Бретон, а также к изданной Дрейфусом любопытной книге участника этой экспедиции, доктора Бодуэна (*Примеч. А. Доде.)*

Имеется в виду не Альфред Дрейфус, обвиняемый в знаменитом процессе, а Поль Дрейфус, издатель «Журнала морской торговли и колоний».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Жалобы Тараскона на существующий порядок вещей. Быки. «Белые отцы». Тарасконец в раю. Осада и капитуляция Памперигустского аббатства

— Бранкебальм, дорогой мой!.. Я недоволен Францией!.. Правительство всюду сует свой нос.

Эти достопамятные слова, которые однажды вечером соответствующим тоном и с подобающими жестами произнес Тартарен в Клубе у камина, дают точное представление о том, что думали и говорили в Тарасконе-на-Роне за два, за три месяца до эмиграции. Обыкновенно тарасконец политикой не занимается: беспечный по природе, равнодушный ко всему, что не имеет к нему непосредственного отношения, он, по его собственному выражению, стоит за существующий порядок вещей. Однако с некоторых пор он пришел к выводу, что существующий порядок вещей требует существенных изменений.

— Правительство всюду сует свой нос! — твердил Тартарен.

Под этим «всюду» подразумевалось прежде всего запрещение боя быков.

Вы, конечно, знаете историю одного тарасконца, дурного христианина и первостатейного негодяя, который после смерти случайно проскочил в рай в тот момент, когда апостол Петр отвернулся, и потом ни за что не хотел оттуда уходить, как ни молил его всехвальный ключарь. Что же тогда предпринял первоверховный апостол? Он отрядил целый сонм ангелов кричать что есть мочи перед райскими вратами: «Эй! Эй!.. Быки!.. Эй! Эй!.. Быки!..» Так кричат в Тарасконе, когда начинается бой быков. Услышав это, разбойник изменился в лице:

— Разве у вас, апостол Петр, бывают здесь бои быков?

— Бои быков?.. А как же!.. Замечательные, я тебе скажу, бои, почтеннейший.

— Но где же… где же они происходят?

— Перед раем… Там, понимаешь, просторно.

Тарасконец стремглав бросился смотреть бой быков, и двери рая закрылись для него навсегда.

Привел я здесь эту легенду, такую же древнюю, как скамейки на Городском кругу, только для того, чтобы читатели могли себе представить, как обожают тарасконцы бой быков и как они

возмутились, когда на этот вид зрелищ был наложен запрет.

За этим последовал указ о выселении «белых отцов» и о закрытии их прелестного монастыря в Памперигусте, сотни лет стоявшего на холмике, сером от тимьяна и лаванды, неподалеку от городской окраины, откуда видны среди сосен кружевные монастырские колоколенки, чей перезвон в прозрачном утреннем воздухе сливался с трелями жаворонков, а в сумерки — с печальными криками куликов.

Тарасконцы очень любили «белых отцов», ласковых, добрых, безобидных, умевших настаивать на душистых травах, росших на горке, великолепный эликсир. Любили они их и за паштеты из ласточек, и за их превкусные *памперu*, то есть за пирожки с тонкой золотистой корочкой, внутри которых была айва, откуда, собственно, и повелось название аббатства — Памперигуст.

И вот когда отцы, получив официальное уведомление о том, что им надлежит покинуть обитель, не подчинились приказу, тарасконская меньшая братия — тысячи полторы-две носильщиков, чистильщиков обуви, грузчиков, словом, так называемое простонародье, — заперлась вместе с честными иноками в Памперигусте.

Тарасконские мещане и завсегдатаи Клуба во главе с Тартареном, разумеется, тоже выразили желание поддержать это правое дело. Они не колебались ни одной минуты. Но без подготовки в подобные предприятия не пускаются. Поступать необдуманно — это к лицу меньшой братии.

Прежде всего потребовались соответствующие наряды. И наряды были заказаны, заказаны превосходные одеяния времен крестовых походов — длинные черные балахоны с большим белым крестом на груди и с вышитыми галуном скрещенными костями спереди, сзади, всюду. На вышиванье ушло особенно много времени.

Когда же все было готово, оказалось, что монастырь окружен. Войска, расположившись лагерем в полях и на кремнистых склонах холмика, сжали обитель тройным кольцом.

Красные штаны среди тимьяна и лаванды напоминали издалека буйно цветущие маки.

На дорогах можно было каждую минуту наткнуться на разъезд; у всадников вдоль бедра свешивался карабин, за поясом торчала кобура револьвера, сабля в ножнах хлопала коня по боку.

Но подобной дислокацией невозможно было запугать бесстрашного Тартарена и большинство

клубных завсегдатаев, решивших во что бы то ни стало пробиться к монастырю.

Принимая все меры предосторожности, пускаясь на классические хитрости куперовских дикарей, они то ползли один за другим мимо погруженных в сон неприятельских палаток, то обходили часовых и разъезды, давая друг другу знать об опасности неумелым подражанием птичьим крикам, и, наконец, миновали расположение осаждающих войск.

Какую нужно было иметь храбрость, чтобы пойти на такой риск в лунную ночь, когда светло, как днем! Справедливость требует, впрочем, заметить, что в интересах осаждающих было пропустить в монастырь как можно больше народу.

Целью войска было взять монастырь не силой, а измором. Поэтому солдаты, завидев при месячном и звездном свете блуждающую тень, сейчас же отворачивались. Офицеры, которым не раз доводилось пить в Клубе абсент со знаменитым истребителем львов, узнавали Тартарена издали, несмотря на его маскарад, и дружески его приветствовали:

— Доброго здоровья, господин Тартарен!

Придя в обитель, Тартарен немедленно организовал оборону.

Этот молодец удосужился прочесть все книги об осаде и о блокаде. Сформировав тарасконское ополчение под командой бравого командира Бравида, он, исходя из опыта Севастополя и Плевны, заставил ратников ополчения рыть, рыть и рыть землю и окружил аббатство валами, рвами и всякого рода фортификационными сооружениями, кольцо которых все сжималось и сжималось, так что в монастыре нечем стало дышать, и осажденные как бы сами себя замуровали в толще своих укреплений, а осаждающим только этого и надо было.

В монастыре, превращенном в крепость, была введена военная дисциплина. При осадном положении так оно и следовало. Все делалось под бой барабана и под звуки труб.

Людей чуть свет будил барабан, рокотавший во дворе, в коридорах, под сводами. Барабан бил с утра до вечера — он скликал на молитву: трата-та, призывал отца казначея: трата-тата, отца эконома: трата-тата-та. Звуки труб, громкие, повелительные, отрывистые, резали слух. Трубили к вечерне, к утрене, к обедне. Это был позор для осаждающего войска, производившего гораздо меньше шума на просторе полей, тогда как на вершине холмика, за тонкими зубцами аббат-

ства-крепости, трубный звук и барабанный бой, сливаясь с перезвоном колоколов, порождали торжествующую разноголосицу, и эта полувоинственная, полусвященная радостная песнь разносилась далеко окрест.

Между тем осаждающие, черт бы их душу взял, спокойно стояли себе станом, ни о чем не заботились, легко раздобывали съестные припасы и целыми днями пировали. Прованс, страна лакомств, производит столько вкусных вещей! Прозрачные золотистые вина, арльские сосиски и колбасы, нежные дыни, сочные арбузы, монтелимарская нуга — всем этим наслаждались правительственные войска, а в блокированном аббатстве только облизывались.

Итак, с одной стороны, солдаты, которым прежде и во сне не снился такой праздник, которые жирели до того, что на них лопались мундиры, и кони с округлившимися лоснящимися крупами, а с другой — увы! — бедные тарасконцы, точнее, бедные тарасконские простолюдины: они рано вставали, поздно ложились, выбивались из сил, вечно находились в движении, днем и ночью копали и возили на тачках землю; опаляемые солнцем и огнем факелов, они сохли и худели так, что жалость брала на них смотреть.

В довершение всего запасы их преподобий были на исходе: пампери и паштеты из ласточек подходили к концу.

Сколько еще можно держаться?

Этот вопрос обсуждался ежедневно на земляных валах и насыпях, трескавшихся от засухи.

— А эти трусы все не идут в атаку! — говорили тарасконцы, показывая кулак красным штанам, валявшимся на траве под соснами. Мысль же о том, чтобы самим идти в атаку, не приходила им в голову — так силен в этом храбром народце инстинкт самосохранения.

Один-единственный раз неугомонный Экскурбаньес предложил устроить грандиозную вылазку, выставив монахов вперед, и опрокинуть наемное войско.

Тартарен пожал своими могучими плечами и сказал ему в ответ:

— Дитя!

Затем он взял пылкого Экскурбаньеса под руку и, приведя его на самый верх контрэскарпа, широчайшим жестом обвел войсковые соединения, расположившиеся по уступам холма, и патрули, расставленные на каждой тропинке.

— Кто осаждает: они или мы?.. Разве мы должны идти на приступ?..

Вокруг послышался одобрительный шепот:

— Конечно… Он прав… Начать должны они, раз они осаждают…

И тарасконцы лишний раз убедились, что военную тактику Тартарен изучил лучше всех.

Тем не менее нужно было на что-то решиться.

И вот однажды в большой зале капитула, зале с высокими окнами и резной деревянной панелью, собрался совет, и отец эконом представил отчет о ресурсах крепости. Все «белые отцы» слушали его молча, выпрямившись на своих *пожалей-мою-старость* — этих ханжеских полусиденьях, на которых монахи сидели так, что казалось, будто они стоят.

Отчет отца эконома оказался ох каким плачевным! Сколько тарасконцы сожрали с начала осады! Столько-то сотен паштетов из ласточек, столько-то тысяч пампери, столько-то того, столько-то сего! От всех тех изделий, которые перечислил отец эконом и которыми монастырь вначале был вполне обеспечен, осталось мало, совсем мало, можно сказать — ничего.

У святых отцов вытянулись лица, они переглянулись, и каждый про себя решил, что если бы к ним не пришли на помощь, то при условии, что неприятель не прибегнул бы к крайним

мерам, они могли бы, ни в чем решительно не нуждаясь, протянуть несколько лет. Отец эконом монотонно и уныло продолжал читать, как вдруг послышались крики.

Дверь в залу с шумом распахнулась, и на пороге появился Тартарен, весь красный, взволнованный, с трагическим выражением лица, с всклокоченной бородой, вздымавшейся над белым крестом. Отсалютовав шпагой сперва настоятелю, державшемуся прямо на своем *пожалей-мою-старость,* а затем поочередно всем членам капитула, он торжественно заявил:

— Ваше высокопреподобие! Я ничего не могу поделать с моими людьми… Они мрут с голоду… Все водоемы пусты. Мы должны или сдать крепость, или похоронить себя под ее обломками.

Тартарен умолчал о том, что являлось для него огромным лишением: он уже две недели не пил по утрам шоколаду, а между тем он спал и видел густой, дымящийся маслянистый шоколад, который он привык запивать холодной прозрачной водой, здесь же, в монастыре, ему приходилось довольствоваться солоноватой водой из водоемов.

Совет тотчас же встал, и все заговорили разом; решение было вынесено единодушно:

— Сдать крепость… Крепость необходимо

сдать…

Один лишь отец Баталье, человек горячий, предложил взорвать монастырь остатками пороха и вызвался сам поджечь фитиль.

Но отца Баталье не стали слушать, и, как только спустилась ночь, монахи и ратники ополчения вместе с Экскурбаньесом, Бравида, Тартареном и прочими клубными завсегдатаями — одним словом, все защитники Памперигуста, оставив ключи в замочных скважинах, на сей раз без барабанов и горнов вышли из монастыря и вереницею озаренных луной призраков молча спустились с холма, провожаемые добродушными взглядами вражеских часовых.

Приснопамятная защита аббатства покрыла Тартарена неувядаемой славой, но после того, как войска заняли обитель «белых отцов», тарасконцы затаили злобу в сердце своем.

II

Аптека на Малой площади. Появление северянина. «С нами бог, ваша светлость!» Рай за морем

Некоторое время спустя после закрытия аббат-

ства аптекарь Безюке в обществе своего ученика Паскалона и его преподобия отца Баталье вдыхал у дверей аптеки вечернюю прохладу.

Надо вам сказать, что тарасконцы приютили рассеявшихся монахов у себя. Каждая тарасконская семья пожелала взять к себе «белого отца». Люди зажиточные, как, например, лавочники, почтенные буржуа, брали на свое иждивение каждый по одному монаху, а ремесленники составляли товарищества и содержали святых отцов в складчину.

В любой лавке можно было видеть белую рясу с капюшоном. У оружейника Костекальда, среди ружей, карабинов и охотничьих ножей, за прилавком у галантерейного торговца Бомвьейля, из-за рядов катушек с шелковыми нитками, выглядывала большая белая птица, напоминавшая ручного пеликана. «Белые отцы» приносили в дом счастье. Обходительные, покладистые, всем довольные, скромные, они никого не стесняли, умели вовремя стушеваться, и вместе с тем от них исходил дух кротости и незлобия, тарасконцам несвойственный.

Казалось, сам господь посетил тарасконские жилища: мужчины перестали браниться и сквернословить, женщины больше не лгали

или, вернее, почти не лгали, малыши были паиньками и держались прямо на своих высоких стульчиках.

Утром и вечером, перед завтраком и после ужина, когда полагалось читать: «Благослови...» и «Благодарим тебя...», большие белые рукава, точно крылья ангела-хранителя, приосеняли собравшуюся за столом семью, и с этой почившей на них благодатью тарасконцы уже не могли не вести жизнь благочестивую и праведную.

Каждый из них гордился своим иноком, расхваливал его, хвастался им, в особенности же — аптекарь Безюке, которому благая судьба послала отца Баталье.

Порывистый, пылкий, проповедник по призванию, славившийся своим искусством рассказывать притчи и легенды, его преподобие отец Баталье был чудный малый, хорошо сложенный, загорелый, с глазами как угли, и притом настоящий сорвиголова. Плотная ряса с длинными складками придавала ему внушительный вид, несмотря на то, что одно плечо у него было выше другого и ходил он как-то боком.

Эти его мелкие недостатки становились совсем незаметными, когда, окончив проповедь, но все еще дрожа от волнения, потрясенный соб-

ственным красноречием, он сходил с кафедры и, задрав нос кверху, поспешно пробирался в толпе по направлению к ризнице. Его восторженные поклонницы на ходу отрезали ножницами кусочки от его белой рясы; по сему обстоятельству он получил прозвище «инока с фестончиками», и ряса его всегда была так изрезана и так быстро изнашивалась, что одевать отца Баталье являлось для монастыря делом весьма нелегким.

Итак, Безюке расположился с Паскалоном возле аптеки, а напротив верхом на стуле восседал отец Баталье. Они блаженствовали на свежем воздухе и наслаждались безмятежным покоем, ибо в это время дня в аптеку к Безюке никто уже не заходил. Равным образом ночью тарасконцы вольны были корчиться и извиваться от боли — доблестный аптекарь ни за какие блага в мире себя не тревожил: по ночам порядочные люди, дескать, не хворают.

Безюке и Паскалон слушали одну из тех прелестных историй, которые так хорошо умел рассказывать его преподобие, а в это время где-то далеко били вечернюю зорю, и она долетала сюда вместе со всею музыкой роскошного летнего заката.

Вдруг ученик вскочил и, весь красный, взвол-

нованный, показывая на противоположную сторону площади, пролепетал:

— Вон господин Та-Та-Тартарен!

Читатели, верно, уже заметили, что Паскалон питал особое, необыкновенное уважение к этому великому человеку, жестикулирующая тень которого вырисовывалась в огнистой предвечерней мгле рядом с каким-то изысканно одетым незнакомцем в серых перчатках, молча шагавшим и, по-видимому, слушавшим своего спутника.

Кто-нибудь с Севера, — это было совершенно ясно.

На юге Франции северянина сразу можно узнать по сдержанности, по неторопливости и сжатости речи, подобно тому как южанин сейчас же выдает себя повышенной жестикуляцией и словоизвержениями.

Тарасконцам нередко приходилось видеть Тартарена в обществе иностранцев, ибо все проездом через Тараскон считали своим долгом посетить местную достопримечательность — знаменитого истребителя львов, досточтимого альпиниста,

современного Вобана[4], покрывшего себя славой во время осады Памперигуста.

Наплыв посетителей открыл в истории Тараскона эру дотоле невиданного благоденствия.

Содержатели гостиниц богатели; в книжных магазинах продавалась биография великого человека; во всех витринах красовались его портреты — Тартарен был запечатлен на них в разных видах, знаменовавших различные этапы его героического жизненного пути: в костюме *тэрка,* в костюме альпиниста, в костюме крестоносца.

Но на сей раз с Тартареном был не обычный посетитель, не случайный залетный гость.

Перейдя площадь, герой величественным жестом указал на своего спутника:

— Дорогой Безюке и вы, ваше преподобие! Позвольте вам представить его светлость герцога Монского…

Герцога!.. А, чтоб!..

Герцога в Тарасконе еще не бывало. Тарасконцы чего-чего только не видели на своем веку: и верблюда, и баобаб, и львиную шкуру, и коллекцию

---

[4] Примечания: 4

Вобан Себастьян ле Претр (1633-1707) — крупнейший французский военный инженер, строитель пограничных укреплений Франции, восемь раз осаждавший города и трижды победоносно защищавший осажденные крепости.

отравленных стрел, и почетные альпенштоки… Но герцогов — никогда!

Безюке, слегка оробев при мысли, что столь высокая персона застала его врасплох, встал и поклонился.

— Ваша светлость!.. Ваша светлость!.. — бормотал он.

Тартарен перебил его:

— Войдемте, господа, — нам нужно потолковать о важном деле.

Он пригнулся и с таинственным видом первый прошел в маленькую гостиную при аптеке, единственное окно которой, выходившее на площадь, служило витриной, где были выставлены заспиртованные зародыши, банки с солитерами, словно затянутыми в полосатое трико, и пакетики камфарных папирос.

Как истые заговорщики, они плотно затворили за собой дверь. В аптеке остался один Паскалон, которому Безюке дал наказ принимать посетителей, но ни под каким видом никого из них не подпускать к гостиной.

Озадаченный ученик принялся расставлять по полкам коробки с грудной ягодой, пузырьки с sirupus gummi и другие аптекарские товары.

По временам до него доносился шум, в котором

он различал глухой голос Тартарена, произносившего какие-то необыкновенные слова: «Полинезия... земной рай... сахарный тростник, винокуренные заводы... Свободная колония». Затем послышался возглас отца Баталье: «Браво! Я согласен». Зато северянин говорил так тихо, что его совсем не было слышно.

Паскалон приложил было ухо к замочной скважине, как вдруг дверь с треском распахнулась, ибо ее — *manu militari*[5] — привела в движение мощная длань святого отца, и ученик откатился на противоположный конец аптеки. Но в сумато-хе никто не обратил на него внимания.

Тартарен остановился на пороге и, показав пальцем на головки мака, сушившиеся под потолком, с видом архангела, потрясающего мечом, воскликнул:

— С нами бог, ваша светлость! Нам предстоят великие дела!

За этим последовала путаница протянутых рук, которые одна другую искали, переплетались, одна другую пожимали, одна другую энергично встряхивали, как бы для того, чтобы навеки скрепить нерушимое обязательство. Разгоряченный

---

[5] Примечания: 5
здесь: страшным ударом *(лат.)*

этим порывом, Тартарен выпрямился, как будто бы вырос и вместе с герцогом Монским вышел из аптеки, чтобы продолжить обход города.

Два дня спустя на столбцах двух тарасконских газет — «Форума» и «Свирели» — появилось множество статей и реклам, касавшихся одного грандиозного начинания. Общий заголовок был набран крупными буквами: «***СВОБОДНАЯ КОЛОНИЯ ПОРТ-ТАРАСКОН***». Под ним были напечатаны сногсшибательные объявления: «*Продается земля по пяти франков за гектар, дающая несколько тысяч франков годового дохода... Можно быстро и без всякого риска нажить состояние... Требуются колонисты*».

Далее следовало описание острова, где должна была основаться предполагаемая колония, причем указывалось, что вокруг этого острова, купленного у короля Негонко герцогом Монским во время его путешествия, расположены другие острова, которые можно будет приобрести впоследствии, дабы расширить территорию колонии.

Климат райский, температура, несмотря на близость экватора, умеренная, между двадцатью пятью и двадцатью восемью, с колебаниями в пределах двух-трех градусов. Земля в высшей

степени плодородная, обильно орошаемая; кругом леса; остров круто поднимается над уровнем моря, что даст возможность каждому выбрать себе высоту соответственно своему темпераменту. Съестного сколько угодно, деревья увешаны дивными плодами, в лесах и в полях водится разнообразная дичь, в реках полно рыбы. С точки зрения коммерческой и навигационной опять-таки все великолепно: чудный рейд, на котором может стоять целая флотилия, надежная гавань, защищенная молами, внутренний рейд, сухой док, набережная, дебаркадер, маяк, сигнальная мачта, паровые краны — все, что угодно.

Работы уже начаты китайскими и канакскими рабочими под руководством крупнейших инженеров по проектам выдающихся архитекторов. Колонистов ожидают комфортабельные помещения, а за доплату всего лишь в пятьдесят франков при помощи некоторых сложных комбинаций дома могут быть отделаны на любой вкус.

Можете себе представить, как разыгралось воображение тарасконцев, когда они прочитали об этих чудесах! В каждой семье строились планы. Один мечтал о зеленых ставнях, другой — о красивом подъезде. Кто предпочитал кирпич, а кто — песчаник.

Тарасконцы рисовали, раскрашивали и все пристраивали и пристраивали: недурно бы еще и голубятню, не мешало бы еще и флюгер.

— Ах, папа, а веранда?

— Ну что ж, дети мои, веранда так веранда!

Куда, мол, ни шло!..

Пока богатейшая фантазия славных жителей Тараскона трудилась над благоустройством идеальных помещений, все южные газеты успели перепечатать статьи из «Форума» и «Свирели», а все южные города и селения были наводнены проспектами с виньетками в виде пальм, кокосов, бананов, латаний — словом, тут была представлена вся экзотическая флора. Во всем Провансе велась яростная пропаганда.

По пыльным дорогам тарасконских пригородов крупной рысью мчался кабриолет Тартарена, и правил своим кабриолетом он сам, а рядом, тесно к нему прижавшись, сидел на передке отец Баталье, так что спины их служили опорой для герцога Монского, прикрывавшего лицо зеленой вуалью от заедавших его москитов, которые неотступно вились вокруг него жужжащими полчищами, жаждавшими крови северного человека, и жалили немилосердно, так жалили, что от их укусов у него распухло лицо.

Да, это был настоящий северянин! Ни одного жеста, ни одного лишнего слова, и какая выдержка!.. Он не заносился, он ничего не преувеличивал, он смотрел на вещи трезво. На него вполне можно было положиться.

И на маленьких площадях, затененных листвою платанов, в старинных предместьях, в засиженных мухами кабачках, в танцевальных залах — всюду произносились напутственные слова, проповеди, устраивались совещания.

Герцог Монский кратко и точно, с той простотой, какой требует нагая истина, перечислял красоты Порт-Тараскона и выгоды этого предприятия. Монах произносил пламенные речи в духе Петра Пустынника[6] и призывал к эмиграции. Тартарен, окутанный дорожной пылью, словно пороховым дымом, выкрикивал своим зычным голосом громкие слова: «Торжество, победа, новое отечество», — которые он решительным жестом как бы посылал куда-то далеко, через головы слушателей.

Иной раз устраивались дискуссии в форме вопросов и ответов:

— А что, ядовитые животные там водятся?

---

[6] Примечания: 6

Петр Пустынник (умер в 1115 г.) — французский монах, проповедовавший во Франции крестовый поход.

— Ни одного нет. Ни одной змеи. Даже москитов нет. Диких зверей тоже нет совершенно.

— Но говорят, в Океании живут людоеды?

— Что вы! Там все вегетарианцы…

— Правда, что дикари ходят нагишом?

— Это похоже на правду, но только далеко не все. Ну да мы их оденем.

Статьи, собрания — все это имело успех головокружительный. Простаки снимались с места сотнями, тысячами, число эмигрантов все возрастало — и не только за счет Тараскона: эмигранты прибывали со всего юга Франции! Даже из Бокера. Да, кстати: Тараскон считал жителей Бокера изрядными нахалами.

Эти два соседних города, разделенные одною лишь Роной, питают друг к другу вековую затаенную ненависть, которая, видимо, не пройдет никогда.

Если вы станете доискиваться причин, то обе стороны ответят вам ничего не значащими словами.

— Знаем мы этих тарасконцев… — с загадочным видом говорят бокерцы.

А тарасконцы, лукаво подмигивая, заявляют:

— Всем известно, что такое господа бокерцы.

Как бы то ни было, города эти друг с другом

не общаются, мост перекинут между ними зря. Все равно никто по нему не ходит. Во-первых, по причине вражды, а во-вторых, вот почему: из-за силы ветра и ширины реки в этом месте переход через мост считается опасным.

Но хотя колонистов из Бокера и не принимали, однако вносить деньги никому не возбранялось. Пресловутые «пятифранковые гектары» (доход — несколько тысяч франков) разбирались нарасхват. Не менее охотно принимались от всех сочувствовавших этому делу пожертвования на нужды колонии. «Форум» печатал списки пожертвований; среди них попадались вещи самые неожиданные:

От неизвестного: *коробочка с бусами.*

» » *комплект номеров «Форума».*

» г-на Бекуле: *сорок пять головных сеток из синели и бусы для индианок.*

» г-жи Дурладур: *полдюжины носовых платков и полдюжины ножей для церковного причта.*

От неизвестной: *вышитое знамя для хорового кружка.*

» Магелоны из Андюза: *чучело фламинго.*

» семейства Марг: *семьдесят два собачьих ошейника.*

» неизвестного: *расшитый галуном камзол.*

» **одной набожной марсельской дамы:** *риза, золотая обшивка на стихарь для кадилоносца и воздух для дароносицы.*

» **нее же:** *коллекция жесткокрылых под стеклом.*

И в каждом списке непременно значилось приношение мадемуазель Турнатуар: «*Полный комплект одежды для дикаря*». Так добрая старая дева неукоснительно выражала свою заботу о диких племенах.

Целые ящики диковинных, фантастических даров, в которых сказывалась вся причудливость южного воображения, отправлялись в Марсель — в доки, на склады Свободной колонии. Центр деятельности герцога Монского находился там.

Дело у него было поставлено на широкую ногу; сидя в своем роскошном кабинете, он учреждал то Общество производства сахара из тростника, то Общество обработки трепангов — этой особой разновидности моллюсков, которые, как указывалось в объявлении, в большой цене у китайцев, потому что в Китае трепанги считаются лакомым блюдом. Каждый день у неутомимого герцога рождалась какая-нибудь новая идея, каждый день он затевал какое-нибудь грандиозное предприятие, а вечером того же дня оно претворялось

в жизнь.

Между делом он организовал товарищество марсельских акционеров под председательством греческого банкира Кагараспаки, капиталы же этого товарищества он предложил поместить в турецкий банк Паменьян-бен-Кага, солидность которого не вызывала сомнений.

Тартарен вел теперь самый беспокойный образ жизни — он то и дело сновал из Тараскона в Марсель, из Марселя в Тараскон. Он разжигал энтузиазм своих сограждан, вел среди них пропаганду и вдруг садился на скорый поезд и мчался на какое-нибудь совещание, на заседание акционеров. Его преклонение перед герцогом росло день ото дня.

Всем он ставил в пример хладнокровного герцога Монского, благоразумного герцога Монского.

— Можете быть спокойны: уж кто-кто, а он не склонен к преувеличениям! У него не может быть тех миражей, в которых нас упрекал Доде.

В противоположность Тартарену герцог нигде не показывался, вечно прикрывался вуалью от москитов и совсем мало говорил. Северянин стушевывался перед южанином, постоянно выдвигал его вперед и предоставлял его неистощимому красноречию давать объяснения,

обещания и всевозможные обязательства. Сам же отделывался одной фразой:

— В мой замысел посвящен только господин Тартарен.

Можете себе представить, как Тартарен этим гордился!

III

«Порт-тарасконская газета». Добрые вести из колонии. В Полигамии. Тараскон готовится сняться с якоря. «Не выезжайте, ради бога, не выезжайте!»

Однажды утром тарасконцы, проснувшись, увидели, что на всех перекрестках расклеена депеша следующего содержания:

> «Сегодня на рассвете, приняв на борт вместе с судьбою целого народа всякую всячину для дикарей и партию земледельческих орудий, из Марселя вышло большое парусное судно „Фарандола“ водоизмещением в тысячу двести тонн. На „Фарандоле“ восемьсот эмигрантов, все до одного — тарасконцы; среди них

военный губернатор колонии Бомпар, врач-фармацевт Безюке, его преподобие отец Везоль и нотариус Камбалалет, землемер колонии. Я сам проводил их в открытое море. Все идет отлично. Герцог сияет. Прикажите опубликовать.

Тартарен из Тараскона»

Телеграмма, расклеенная по всему городу усилиями Паскалона, которому она и была послана, обрадовала граждан. Город принял праздничный вид, жители высыпали на улицы, народ толпился вокруг каждого листка и читал депешу, радостная весть передавалась из уст в уста: «На „Фарандоле“ восемьсот эмигрантов… Герцог сияет…» Сияли и все тарасконцы.

Это уже вторую партию эмигрантов, месяц спустя после первой, отбывшей на пароходе «Люцифер», отправлял таким образом из Марселя в обетованную землю Тартарен, принявший на себя высокое звание и сложнейшие обязанности порт-тарасконского губернатора. Оба раза — такая же депеша, такой же восторг, и все так же сиял герцог. К несчастью, «Люцифер» застрял у входа в Суэц. С ним стряслась беда: сломался вал, и этот старый, купленный по случаю пароход вынужден был остановиться и ждать, пока «Фа-

рандола» нагонит его и подаст ему помощь.

Происшествие это, которое можно было счесть дурным предзнаменованием, нисколько, однако, не охладило колонизационный пыл тарасконцев. Впрочем, на борту первого судна находилась одна меньшая братия. Вы же знаете, что простолюдинов всегда посылают вперед. На «Фарандоле» тоже находилась меньшая братия, но уже вперемежку с горячими головами, вроде нотариуса Камбалалета, землемера колонии.

Аптекарь Безюке, человек мирный, несмотря на свои огромные усы, любивший удобства, боявшийся и жары и холода, не питавший особого пристрастия к далеким путешествиям и опасным приключениям, долго не соглашался сесть на корабль.

Лишь диплом врача, которого он жаждал всю жизнь, мог его на это подвигнуть, и диплом этот присудил ему своею властью порт-тарасконский губернатор.

Чего-чего только наш губернатор не навыдавал, каких только дипломов и свидетельств, кого и кем только не назначал: одних — начальниками, других — заместителями начальников, третьих — секретарями, четвертых — уполномоченными, сановниками первого класса, сановниками

второго класса, тем самым утоляя страсть своих сограждан к титулам, почестям, знакам отличия, мундирам и галунам.

Вот только отец Везоль в подобных поощрениях не нуждался. Этот душа-человек всегда был на все согласен, всем доволен и во всех случаях жизни говорил: «Слава тебе, господи!» Выгнали из монастыря — «Слава тебе, господи!». Загнали на большое парусное судно вместе с меньшою братией, вместе с судьбой целого народа и всякой всячиной для дикарей — все равно; «Слава тебе, господи!»

После ухода «Фарандолы» в Тарасконе остались лишь дворяне и мещане. И тем и другим не к чему было торопиться: пусть, мол, передовой отряд подаст о себе весть по приезде, тогда будет видно, как им поступить.

Тартарен пока тоже не уезжал: губернатор, организатор, осуществлявший идею герцога Монского, мог покинуть Францию только с последней партией. Но в ожидании чаемого дня он, по обыкновению, отдавал все свои силы, весь свой душевный жар тому делу, за которое взялся.

Без устали снуя между Тарасконом и Марселем, неуловимый, точно метеор, которого увлекает за собой какая-то неведомая сила, он появлялся то

здесь, то там и исчезал снова.

— Не переутомляйтесь, учи-и-итель!.. — блеял Паскалон по вечерам при виде доблестного мужа, который входил в аптеку, сгорбившись и обливаясь потом.

Но Тартарен сейчас же выпрямлялся.

— Я отдохну *там.* За дело, Паскалон, за дело!

Ученик по совместительству с заведованием аптекой, которое перешло к нему после отъезда Безюке, занимал несколько еще более ответственных должностей.

Чтобы столь успешно начатая пропаганда не прекращалась, Тартарен издавал «Порт-тараскон-скую газету», которую Паскалон по указаниям и под верховным руководством губернатора писал сам от первой до последней строчки.

Такого рода совмещение обязанностей было несколько невыгодно для аптеки: писание статей, чтение корректур, поездки в типографию — все это не оставляло времени для приготовления лекарств, но… Порт-Тараскон прежде всего!

Газета ежедневно давала жителям метрополии сведения о колонии. В каждом номере печатались статьи о ее естественных богатствах, о ее красотах, о том блестящем будущем, какое ее ожидает. Были там и отдел происшествий, и

смесь, и рассказы на все вкусы.

Рассказы о путешествиях, об открытиях островов, о завоеваниях, о битвах с дикарями были рассчитаны на любителей приключений. Помещикам предлагались рассказы об охоте в лесах, о потрясающих уловах в обильных рыбою реках с описанием способов ловли, а также снастей, применяемых туземцами.

Люди, более мирно настроенные, как-то лавочники и домоседы-мещане, наслаждались описанием завтраков прямо на свежем воздухе, на травке, возле прядающего с камней ручья, под сенью причудливых, раскидистых деревьев. Тарасконцы мысленно переносились туда и словно ощущали во рту сок вкусных плодов — плодов манго, ананаса, банана.

«И при всем том ни единой мухи!» — уверяла газета, а в Тарасконе, как известно, мухи отравляли любую увеселительную прогулку.

Газета печатала даже роман под названием «Прекрасная тарасконка» о дочери колониста, похищенной сыном папуасского короля, и перипетии этой любовной драмы открывали широкий простор воображению молодежи. В финансовом отделе помещались сообщения о ценах на колониальные товары, объявления о

выпуске земельных акций и акций сахарных и винокуренных заводов, а также списки подписчиков и пожертвованных вещей, которые все продолжали поступать, в том числе одежда для дикарей от мадемуазель Турнатуар.

Ради таких частых приношений непорочной деве пришлось завести у себя дома самую настоящую мастерскую готового платья. Впрочем, не у нее одной в связи с предстоявшим переездом на неведомые далекие острова появились необычные заботы.

Как-то раз Тартарен спокойно сидел в своем домике, нежась в мягких туфлях и в халате и, однако, не бездействуя, ибо на столе перед ним были разбросаны бумаги и книги: описания путешествий Бугенвиля, Дюмон-Дюрвиля[7], сочинения о колонизации, труды о различных сельскохозяйственных культурах. Среди отравленных стрел, в двух шагах от баобаба, крохотная тень которого трепетала на шторах, он изучал «свою колонию» и забивал себе голову сведени-

---

[7] Примечания: 7

Бугенвиль Луи-Антуан (1729-1811) — французский мореплаватель, открывший многие острова Полинезии; опубликовал в 1771 году книгу «Кругосветное путешествие». Дюмон-Дюрвиль Жюль-Себастьян-Сезар (1790-1842) — французский мореплаватель, исследователь Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Полинезии, где он разыскивал экспедицию Лаперуза.

ями, почерпнутыми из книг. Между делом он подписывал кому-нибудь свидетельство, переводил какого-нибудь сановника из второго класса в первый или же, чтобы по возможности утишить честолюбивый пыл своих сограждан, учреждал на бумаге новую должность.

Он все еще трудился, тараща глаза и надувая щеки, как вдруг ему доложили, что какая-то дама под черной вуалью, отказавшаяся назвать свое имя, хочет с ним поговорить. Не пожелав войти к нему в дом, она осталась ждать в саду, и, услышав это, Тартарен, как был, в халате и в туфлях, устремился к ней.

День угасал, сумерки скрадывали очертания предметов, но ни наступившая темнота, ни густая вуаль не помешали Тартарену сейчас же узнать посетительницу по одним ее горящим глазам, сверкавшим сквозь тюль.

— Госпожа Экскурбаньес!

— Господин Тартарен! Перед вами глубоко несчастная женщина.

Голос у нее дрожал от слез. Добряк расчувствовался и заговорил с ней отеческим тоном:

— Бедная моя Эвелина! Скажите, что с вами?..

Тартарен звал по имени почти всех дам в городе, — он знал их еще девочками, потом, в качестве

представителя муниципалитета, выдавал их замуж, он был их наперсником, другом, он был для них чем-то вроде дядюшки.

Он взял Эвелину за руку и стал ходить с ней вокруг бассейна с красными рыбками, а она начала рассказывать ему о своих горестях, о своих семейных неурядицах.

С тех пор как пошли разговоры о переселении в далекие края, Экскурбаньес при всяком удобном случае с видимым удовольствием говорил ей шутливо-угрожающим тоном:

— Вот увидишь, вот увидишь, дай нам только переехать в эту самую *Полигамию*...

Будучи женщиной крайне ревнивой, но в то же время простодушной, даже отчасти приглуповатой, она принимала эту шутку всерьез.

— Правда ли, господин Тартарен, что в этой ужасной стране мужчины могут жениться несколько раз?

Он мягко разуверил ее:

— Да нет же, милая Эвелина, вы ошибаетесь! Все дикари на наших островах моногамны. Нравы у них и без того строгие, а им еще предстоит перейти под начало к «белым отцам», так что с этой стороны опасаться нечего.

— А откуда же тогда название страны?.. Эта

самая *Полигамия?*..

Тут только до Тартарена дошло озорство великого насмешника Экскурбаньеса, и он так и покатился со смеху:

— Ваш муж над вами подтрунивал, моя крошка. Страна называется не *Полигамия,* а *Полинезия,* что значит — группа островов, и опасного для вас тут ничего нет.

Сколько смеху было потом в Тарасконе!

Между тем дни шли за днями, а писем от эмигрантов не было — были только телеграммы, которые герцог пересылал в Тараскон из Марселя. Телеграммы эти, в спехе посылавшиеся из Адена, из Сиднея, во время остановок «Фарандолы», отличались чрезвычайной сжатостью.

Впрочем, тут не было ничего удивительного, если принять во внимание тарасконскую лень.

Собственно говоря, зачем писать письма? Достаточно телеграмм. А телеграммы, которые регулярно печатала «Порт-тарасконская газета», неизменно содержали в себе добрые вести:

> «Путешествие чудесное, море как зеркало, все здоровы».

Для поддержания энтузиазма больше ничего и

не требовалось.

Наконец однажды на первой странице газеты появилась следующая телеграмма, как всегда, пересланная из Марселя:

> «Прибыли в Порт-Тараскон. Торжественный вход в гавань. Дружба с туземцами, вышедшими встречать на пристань. На ратуше развевается тарасконский флаг. В кафедральном соборе отслужен молебен. Все готово, приезжайте скорее».

Под этим была напечатана продиктованная самим Тартареном восторженная статья о новом отечестве, о молодом городе, о явной милости божьей, о знамени цивилизации, водруженном на девственной земле, о будущем, открытом для всех.

После этого никто уже не колебался. Облигации нового выпуска, по сто франков за гектар, раскупались так же ходко, как раскупаются свежие булки.

Третье сословие, духовенство, дворянство — весь Тараскон хотел теперь ехать. Переселенческая лихорадка, помешательство на переселении охватили весь город; даже самые упрямые, вроде

Костекальда, самые равнодушные и недоверчивые из тарасконцев — и те превратились в самых ярых сторонников заморской колонизации.

Всюду с утра до вечера полным ходом шли приготовления. Ящики заколачивались прямо на улицах, заваленных соломой и сеном, слышалась непрерывная стукотня молотков.

Бодро настроенные мужчины работали в одних жилетах, напевали, насвистывали и, передавая друг другу инструменты, обменивались шутками. Женщины укладывали свои наряды, «белые отцы» — дароносицы, малыши — игрушки.

Судно, зафрахтованное для тарасконского высшего общества и окрещенное «Туту-пампам» (так все в Тарасконе называют тамбурин), представляло собою большой пароход, и вести его взялся тулонец Скрапушина, старый морской волк. Погрузка должна была состояться в самом Тарасконе.

Для корабля с такой небольшой осадкой Рона была достаточно полноводна, и он свободно дошел до тарасконской набережной, но самая погрузка заняла целый месяц.

Матросы расставляли в трюме бесчисленные ящики, будущие пассажиры заранее устраивались в каютах — и с каким увлечением, с какою

предупредительностью друг к другу! Каждый старался быть полезным и приятным для своих спутников.

— Это место вам больше подходит? Сделайте одолжение!

— Эта каюта вам больше нравится? Пожалуйста!

И так во всем.

Тарасконская знать, обыкновенно такая чванливая, — все эти д'Эгбулиды, д'Эскюдели, привыкшие задирать нос, — держала себя теперь на равной ноге с мещанами.

Однажды утром, в самый разгар погрузки, пришло письмо от отца Везоля — это была первая почта непосредственно из Порт-Тараскона.

«*Слава тебе, господи, мы приехали*, — сообщал добрый инок. — *Многого не хватает, а все же — слава тебе, господи!..*»

Ни малейшего восторга и никаких подробностей.

Его преподобие упомянул лишь о короле Негонко и королевской дочке Лики-Рики, прелестной девочке, которой он, Везоль, подарил нитку бисера. В заключение он просил посылать что-нибудь более практичное, нежели обычные дары жертвователей. Вот и все.

О самом порте, о городе, о том, как колонисты устроились, — ни единого слова. Отец Баталье рвал и метал:

— Ваш отец Везоль — растяпа… Вот я ему задам по приезде!

В самом деле, от такого благодушного человека можно было ожидать менее сухого письма, однако дурное впечатление, которое оно произвело, потонуло в погрузочной суматохе, в оглушительном шуме переселения целого города.

Губернатор — иначе Тартарена теперь не называли — проводил все дни на палубе «Тутупампама». Заложив руки за спину, он с улыбкой прохаживался взад и вперед среди груд самых разнообразных предметов, не нашедших себе места в трюме, — котомок, подсобных алтарных столиков, грелок, — и с высоты своего величия поучал:

— Ну куда столько, дети мои? Все это и там можно достать.

Сам он бросил и стрелы, и баобаб, и красных рыбок, а взял с собой американский тридцатидвухзарядный карабин, запас фланели и больше ничего.

И как он за всем смотрел, как зорко за всем следил — и на корабле и в городе! Он успевал

побыть и на репетициях хорового кружка, и на Городском кругу, где происходили строевые занятия ратников ополчения.

Эта тарасконская военная организация, пережившая осаду Памперигуста, была еще усилена в предвидении защиты колонии и тех боевых действий, которые решено было предпринять для ее расширения. И Тартарен, в восторге от военной выправки ратников, часто в приказах выражал благодарность как им самим, так и их командиру Бравида.

И все же по временам губернаторское чело прорезала тревожная морщина.

Дело в том, что за два дня до отплытия «Ту-ту-пампама» ронский рыбак по имени Барафор нашел в прибрежном ивняке герметически закупоренную бутылку, сквозь все еще прозрачное стекло которой можно было различить внутри что-то вроде свернутого листа бумаги.

Все рыбаки знают, что подобные находки следует передавать властям, а потому Барафор принес губернатору Тартарену таинственную бутылку, в которой находилось сногсшибательное послание:

«Европа, Тараскон, Тартарену.

Страшная катастрофа в Порт-Тарасконе. Остров, город, порт, все ушло под воду, все исчезло. Бомпар, как всегда, неподражаем и пал, как всегда, жертвой своего самоотвержения. Ради бога, не выезжайте! Пусть никто не трогается с места!»

Похоже было, что кто-то созорничал. Каким чудом бутылка могла доплыть по волнам из Океании до Тараскона?

И потом: «пал, как всегда» — ну разве это не мистификация? Как бы то ни было, подобное предзнаменование омрачало триумф Тартарена.

IV

Погрузка дракона. «Полный вперед!» Пчелы покидают улей. Запах Индии и запах Тараскона. Тартарен изучает папуасский язык. Дорожные развлечения

Вот вы все толкуете о живописности. Посмотрели бы вы на палубу «Туту-пампама» майским утром 1881 года — тогда бы вы поняли, что такое настоящая живописность! Все начальство

было в полной парадной форме: начальник отдела здравоохранения Турнатуар, начальник сельскохозяйственного отдела Костекальд, главнокомандующий ополчением Бравида и еще человек двадцать поражали взор пестротою шитых серебром и золотом мундиров. На многих были еще красные с золотым галуном плащи, составлявшие форму одежды сановников первого класса. Среди этой разряженной толпы белым пятном выделялся отец Баталье, главный войсковой священник колонии и капеллан при губернаторе.

Особенно блистало ополчение. Большинство простых ратников было уже отправлено на других пароходах. Офицеры, с саблями на боку, с револьверами за поясом, рисовались своей стройной талией, выпячивали грудь под кокетливым доломаном с аксельбантами и нашивками и особенно гордились начищенными до блеска великолепными ботфортами.

Среди мундиров и сюртуков мелькали веселые, светлые, переливавшие всевозможными оттенками платья дам, их развевавшиеся на ветру ленты и шарфы, кое-где — тарасконские чепцы служанок. А надо всей этой толпой, над сверкавшим медью кораблем с поднятыми в небо

мачтами вообразите себе чудесное праздничное солнце, затем вообразите широкую Рону, сливающуюся на горизонте с небом, волнующуюся, точно море, взъерошенную мистралем, и вы получите полное представление о «Туту-пампаме» перед отплытием в Порт-Тараскон.

Герцог Монский не мог присутствовать при отправке корабля — его задержал в Лондоне выпуск новых акций. И то сказать: какая уйма денег нужна на содержание пароходов, экипажа, инженеров, на покрытие всех расходов по переселению! Сегодня утром герцог известил телеграммой, что деньги высланы. И все восхищались деловитостью северянина.

— Какой пример для нас с вами, господа! — восклицал Тартарен и всякий раз неукоснительно прибавлял: — Будем же ему подражать… Довольно увлечений!..

Надо отдать Тартарену справедливость, сам он держался очень спокойно, одет был просто и никому пыли в глаза не пускал, в отличие от других разряженных начальников, только на сюртуке у него красовалась надетая через плечо лента ордена первой степени.

С палубы «Туту-пампама» видно было, как на перекрестках появлялись группами колонисты,

как они потом растекались по набережной, наконец их узнавали и называли по именам:

— А вот и Роктальяды!..

— *Э!* Господин Бранкебальм!

Крики, изъявления восторга!

Как только древняя вдова, графиня д'Эгбулид, которой было что-то около ста лет, в коричневой шелковой мантилье, держа в одной руке грелку, а в другой чучело старого попугая и тряся головой, стала проворно взбираться на палубу, ей была устроена бурная овация.

Дома запирались, в магазинах закрывались ставни, везде опускались шторы и жалюзи; город пустел с каждым мгновением, и оттого улицы стали как будто шире.

Когда все наконец взошли на корабль, настала минута всеобщего самоуглубления, торжественного молчания, а молчать было особенно хорошо под пыхтенье разводимых паров. Сотни глаз были устремлены на капитана — тот стоял в рубке и вот-вот должен был отдать приказ сниматься с якоря. Вдруг кто-то крикнул:

— А Тараск?..

Вы, наверное, слыхали про Тараска, про сказочное чудовище, от которого произошло название города — Тараскон. Напомню вам его историю

вкратце: в давно минувшие времена это был страшный дракон, опустошавший устье Роны. Святая Марфа, после смерти Иисуса пришедшая в Прованс, отправилась в белой одежде к обитавшему среди болот зверю и на самой обыкновенной голубой ленте привела его в город — так непорочность и благочестие святой Марфы укротили и покорили зверя.

С тех пор тарасконцы через каждые десять лет устраивают праздник и водят по улицам сделанное из дерева и раскрашенного картона чудовище, помесь черепахи, змеи и крокодила, грубое, карикатурное изображение прежнего Тараска, ныне чтимого, как некий идол, живущего на счет города и известного во всей той стране под названием «отца-батюшки».

Уехать без «отца-батюшки» тарасконцам казалось немыслимым. Молодежь побежала за ним и сейчас же притащила на набережную.

Тут полились слезы и раздались восторженные крики, как будто в этом громоздком картонном чудище была заключена душа города, душа целого края.

Внутри корабля Тараск бы не поместился, а потому его устроили на палубе, и там он, с полотняным животом и расписной чешуей, смешной,

огромный, возвышавшийся над бортами, похожий на чудовище из какой-нибудь феерии, дополнял то живописное, необычное зрелище, какое представляла собой отправка «Туту-пам-пама», ибо Тараск казался одною из тех химер, которые бывают изваяны на носу кораблей, — химер, правящих судьбами путешественников. Его почтительно окружили. Некоторые разговаривали с ним, ласкали его.

Тартарен подумал, как бы эта волнующая сцена не пробудила в сердцах его сограждан сожаления о покидаемой отчизне, и по его знаку капитан Скрапушина громовым своим голосом подал команду:

— Полный вперед!..

Вслед за тем загремели фанфары, раздался свисток, под винтом забурлила вода, но все эти звуки покрыл голос Экскурбаньеса:

— *Двайте шумэт*ь!..

Берег в одно мгновение отдалился. Город, башня короля Рене — все отступало, уменьшалось, тонуло в солнечном свете, игравшем на волнах Роны.

Тарасконцы, склонившиеся над бортом, спокойные, улыбающиеся, без волнения следили за тем, как уходит от них родина, как она исчезает

вдали, — милый Тараск был теперь с ними, и они грустили не больше, чем пчелиный рой, меняющий улей под звон сковородок, или косяк скворцов, улетающих в Африку.

И в самом деле, Тараск покровительствовал им. Дивная погода, искрящаяся морская гладь, ни бури, ни ветра — на редкость благополучное плавание.

Только в Суэцком канале под жгучими лучами солнца путешественники слегка высунули языки, хотя на всех тарасконцах были головные уборы, которые они на себя надели в подражание Тартарену, а именно — обтянутые белым полотном пробковые шлемы с вуалью из зеленого газа. Впрочем, они не очень страдали от этого пекла, их давно уже приучило к нему небо Прованса.

После Порт-Саида и Суэцкого канала, после Адена, после того, как осталось позади Красное море, «Туту-пампам» быстрым и ровным ходом пошел через Индийский океан, под молочно-белым небом, бархатистым, как одно из тех чесночных блюд, один из тех чесночных соусов, которые переселенцы ели за каждой трапезой.

В каком невероятном количестве потребляли они чеснок на корабле! Они взяли с собой огромный запас, и упоительный аромат чеснока был

подобен струе за кормой — так запах Тараскона сливался с запахом Индии.

Путь корабля лежал теперь мимо островов, и острова эти всплывали на поверхность корзинами редкостных цветов, среди которых порхали, словно усыпанные драгоценными камнями, чудные птицы. Тихие прозрачные ночи, осиянные мириадами звезд, были точно пронизаны далекими, смутно различимыми звуками музыки и пляской баядерок.

Мальдивские острова, Цейлон, Сингапур были очаровательны, но тарасконки во главе с г-жой Экскурбаньес не позволяли мужьям сходить на сушу.

Свирепый инстинкт ревности заставлял их быть начеку в Индии с ее опасным климатом, с этими истомою дышащими испарениями, которые ощущались даже на палубе «Туту-пампама». Надо было видеть, как застенчивый Паскалон, плененный аристократической прелестью мадемуазель Клоринды дез Эспазет, высокой красивой девушки, по вечерам склонялся подле нее над бортом.

Добрый Тартарен, поглядывая на них издали, усмехался себе в усы, — он предчувствовал, что по приезде будет сыграна свадьба.

Заметим кстати, что с самого начала путешествия губернатор был решительно со всеми кроток и снисходителен и этим резко отличался от грубого и угрюмого капитана Скрапушина, который вел себя на корабле, как настоящий тиран: вспыхивал при малейшем вашем возражении и кричал, что он застрелит вас, «как собаку». Терпеливый и рассудительный, Тартарен не перечил капитану, старался даже оправдать его в глазах пассажиров и, дабы отвратить его гнев от ратников ополчения, подавал им пример неутомимой деятельности.

Утренние часы он посвящал изучению папуасского языка, а руководил им в этих занятиях его преподобие отец Баталье, бывший миссионер, знавший и этот язык, и еще много других.

Днем Тартарен собирал всех на палубе или же в кают-компании и читал лекции, в которых он делился с аудиторией только что приобретенными им самим познаниями относительно того, как надо разводить сахарный тростник и что можно делать из трепангов.

Два раза в неделю преподавалась охота, так как, по слухам, колония изобиловала дичью, — это вам не Тараскон, где приходилось бить влет по фуражкам.

— Вы стреляете хорошо, дети мои, но вы стреляете чересчур поспешно, — говорил Тартарен.

У тарасконцев была слишком горячая кровь — надо было научиться держать себя в руках.

И Тартарен давал им превосходные советы, учил их менять темп стрельбы в зависимости от того, какую дичь выцеливаешь, учил их считать точно, как метроном:

— Для перепела — три темпа: раз, два, три — бах!.. Готово дело… Для куропатки, — тут он махал рукой, подражая полету птицы, — для куропатки достаточно двух: раз, два — бах!.. Можете подбирать — она убита.

Так проходили однообразные часы плавания, и каждый оборот винта приближал этих славных людей к осуществлению их мечтаний, — мечтали же они всю дорогу, тешили себя смелыми планами на будущее, в самом розовом свете представляли себе, что ожидает их по прибытии, говорили только о том, как они устроятся на новом месте, как распашут новь, какие введут улучшения на своих участках.

Воскресенье считалось днем отдыха, праздничным днем.

Отец Баталье с великой торжественностью служил на корме литургию. И когда он поднимал

чашу с дарами, трубили трубы и воинственно били барабаны. После службы его преподобие рассказывал какую-нибудь занимательную притчу и преподносил ее не столько как проповедь, сколько как поэтическую мистерию, дышащую пламенной верой южан.

Вот одна из его повестей, наивных, как житие святого, изображенное на витражах ветхой деревенской церкви. А чтобы почувствовать всю ее прелесть, представьте себе только что надраенный пароход, сверкающий всеми своими медными частями, дам, усевшихся в кружок, губернатора в плетеном кресле, которого обступили начальники в парадной форме, ратников ополчения, выстроившихся по бокам, матросов на вантах — всех этих затаивших дыхание людей, не спускающих глаз с отца Баталье, стоящего на амвоне. Стук винта вторит звукам его голоса. В высокое ясное небо поднимается прямая и тонкая струя пара. В волнах плещутся дельфины. Морские птицы — чайки, альбатросы — с криками летят за кораблем, и сам кривобокий «белый отец» в тот миг, когда он машет своими широкими рукавами, напоминает одну из этих огромных птиц, взмахивающих крыльями перед полетом.

V

Подлинная история Антихриста, рассказанная его преподобием отцом Баталье на палубе «Туту-пампама»

— Снова в рай веду я вас, дети мои, в то обширное лазурное преддверье, где находится первоверховный апостол Петр со связкой ключей за поясом, всегда готовый распахнуть врата для избранных душ, как скоро они к нему явятся. К несчастью, с течением времени люди стали до того злыми, что даже лучшие из них после смерти не заходят выше чистилища, и доброму апостолу Петру остается только оттирать наждачной бумагой ржавчину с ключей да снимать паутину, прилепившуюся ко вратам, точно судебная печать. Временами ему чудится стук.

— Наконец-то!.. — говорит он. — Кто-то идет… Насилу дождался…

С этими словами апостол отворяет окошечко, но вместо тени избранника он созерцает лишь планеты, неподвижные или же текущие в пространстве с тем еле слышным шумом, с каким спелый апельсин срывается с ветки, и только

этот шум и нарушает царящее вокруг вечное, безграничное молчание.

Можете себе представить, как это должно быть обидно для доброго, любвеобильного апостола, как сокрушается он денно и нощно, какие жгучие, какие горючие слезы текут у него из очей, оставляя на щеках две глубокие борозды, подобные колеям дороги между Тарасконом и Монмажуром!

В конце концов постоянное одиночество истомило бедного ключаря, он затосковал у себя в преддверии, и вот как-то раз его навестил святой Иосиф и сказал ему в утешение:

— Какое тебе, в сущности, дело до того, что люди не подходят больше к твоим вратам?.. Чем тебе здесь плохо? Твой слух радует дивное пение, обоняние ласкают нежнейшие благовония…

Как раз в это время из пролета разверстых семи небес подул теплый ветерок, полный звуков и таких благоуханий, о которых, друзья мои, ничто не может дать вам представление, даже запах лимона и свежей малины, а ведь им только что дохнуло нам в лицо море с подветренной стороны, где виднеется пышный букет розовых островов.

— Ох! — вздохнул добрый апостол. — Мне в

благословенном раю живется прекрасно, но я хотел бы, чтобы и все мои бедные чада были тут, со мной…

И вдруг неожиданно вознегодовал:

— Ах, мерзавцы, ах, дураки!.. Нет, Иосиф, господь еще слишком милостив к этим негодяям… Я бы на его месте не так с ними обошелся.

— А как бы ты с ними обошелся, мой милый Петр?

— Ого! Я бы этот муравейник пнул ногой — пропади пропадом весь род человеческий!

Святой Иосиф мотнул седой бородой… Какой же это будет страшенный пинок, коли он сокрушит землю!.. Еще куда ни шло турки, нехристи, азиаты, пусть они будут сметены во прах, но христианский мир воздвигнут на прочных основаниях, создан самим сыном божиим…

— Именно… — продолжал апостол Петр. — Но что Христос основал, то он же может и разрушить. Я бы вторично послал сына божия к этим висельникам, и сей Антихрист, то есть переодетый Христос, задал бы им такого звону!..

Добрый апостол говорил это в сердцах, особенно не вникая в смысл своих речей и уж никак не думая, что они дойдут до божественного учителя, но, к вящему его изумлению, перед ним неожи-

данно предстал сын человеческий с узелком на конце страннического посоха, который он нес на плече, и мягко, но властно сказал:

— Пойдем, Петр… Я беру тебя с собой.

По бледному лицу Иисуса, по лихорадочному блеску его обведенных кругами глаз, сверкавших ярче, чем нимб, Петр сразу понял все и пожалел, что сболтнул. Дорого бы он дал, чтобы не состоялось это второе пришествие сына божия на землю, особенно чтобы не быть его спутником! Он заметался в отчаянии, руки у него задрожали.

— Ах, боже мой!.. Ах, боже мой!.. Куда же мне деть ключи?

В самом деле, брать с собой в далекое путешествие такую тяжелую связку — это большая обуза.

— А кто будет охранять врата?

Тут Иисус, читавший в его душе, улыбнулся и сказал:

— Оставь ключи в замочной скважине, Петр… Ты же сам отлично знаешь, что к нам сюда никто не ходит.

Он говорил мягко, но в его улыбке и голосе чувствовалось все же что-то неумолимое.

Как было предсказано в Священном писании, знамения небесные возвестили сошествие

на землю сына человеческого, но люди, превратившиеся в ползучих тварей, давно уже не поднимали очей горе; поглощенные своими страстями, они проглядели явление учителя и его верного апостола, а те еще взяли с собой разнообразные одеяния и могли рядиться во что им только вздумается.

В первом же городе, куда они прибыли как раз накануне казни знаменитого разбойника Кровожада, на душе у которого было много чудовищных злодеяний, рабочие, воздвигавшие ночью помост, пришли в изумление, увидев при свете факелов, что с ними заодно трудятся два неведомо откуда взявшихся незнакомца: один — стройный и горделивый, точно незаконнорожденный княжеский сын, с раздвоенной бородкой, с глазами, как драгоценные камни, а другой — уже согбенный, с добродушным и усталым выражением лица, с двумя желобками морщин на дряблых щеках. Потом, на рассвете, когда помост был сооружен, когда народ и городские власти собрались на казнь, плотной стеной окружив гильотину, оба чужеземца исчезли, но что-то они там успели наворожить, из-за чего вся механика оказалась испорченной, ибо после того, как осужденного бросили на помост, хорошо отточенный

нож из наилучшей стали падал раз двадцать подряд, но даже не поцарапал преступнику кожу на шее.

Рисуете себе картину? Судьи растерянны, народ в ужасе, палач тузит своих подручных, рвет на себе слипшиеся от пота волосы, а Кровожад — этот изверг, конечно, был из Бокера и вдобавок ко всем прочим порокам отличался еще дьявольскою гордыней, — вертя своей бычьей шеей в кольце гильотины, злобно орет:

— Ну что?.. Ничего вам со мной не поделать!.. Такой уж я человек — никакая сила меня не берет!..

В конце концов полиция уволокла его обратно в тюрьму, а вокруг разломанного эшафота, трещавшего, взметавшего к небу искры, словно костер в Иванову ночь, плясала и завывала чернь.

С тех пор не только в этом городе, но и во всех цивилизованных странах смертные приговоры словно кто заколдовал. Меч закона не отсекал больше голов, а так как убийцы ничего, кроме смерти, не боятся, то скоро весь мир погряз в преступлениях, на улицах и на дорогах запуганным честным людям не стало проходу, а между тем душегубы, коими тюрьмы были набиты битком, жирели на казенных харчах, ударом каблука

проламывали сторожам головы, выдавливали им большим пальцем глаза, а не то, потехи ради, раскалывали им черепа — любопытно, дескать, посмотреть, что там внутри.

Род человеческий редел на глазах, редел вследствие того, что правосудие было обезоружено, и, преисполнившись сострадания к людям, решив, что с них довольно, добрый апостол Петр с подобострастным смешком однажды заметил:

— Хороший урок мы им дали, учитель, долго будут помнить… А теперь, пожалуй, можно и восвояси?.. Дело вот в чем: я, знаете ли, беспокоюсь — наверно, я нужен там, наверху.

Сын человеческий чуть заметно улыбнулся.

— Вспомни, — сказал он, подняв палец: — «Что Христос основал, то он же может и разрушить!..»

При этих словах апостол Петр поник головой.

«Это я сболтнул, дети мои, это я сболтнул!» — подумал он.

Разговор учителя с апостолом происходил на злачной ниве, расстилавшейся по склону холма, у подножья которого великолепный столичный город всюду, куда ни оглянись, возносил свои купола, кровли, узорчатые звонницы и стрельчатые башни соборов, увенчанные разной формы крестами, сверкавшими в лучах мирно догорав-

шего заката.

— Уж, верно, тут у них есть и монастыри и церкви!.. — стараясь отвратить гнев господа, сказал добрый старик. — Что ни говори, благолепие!

Но ведь вы же знаете, что Иисус до глубины души презирает пышную ханжескую обрядность фарисеев, презирает церкви, куда ходят только потому, что так принято, и монастыри, где изготовляют эликсир Гарюс и шоколад. Вот почему он молча ускорил шаг, и среди высоких хлебов, хорошо в том году уродившихся, мелькал лишь узелок с одеждой, покачивавшийся на конце странического посоха грозного истребителя человечества… А в том городе, куда они вошли, жил старый-престарый император, за свое необычайное могущество и необычайную справедливость признанный главою всех государей Европы, приковавший войну к лафетам пушек, применявший и силу, и все свое красноречие для того, чтобы удержать народы от взаимного истребления.

Между волками и собаками действовало молчаливое соглашение: пока император у власти, овцы могут пастись спокойно, ну, а уж потом, дескать, не взыщи! Вот почему все так дорожили добрым императором; любая мать, не задумываясь, позволила бы вскрыть себе вены и отдала бы

ему свою бурную алую кровь.

И вдруг любовь превратилась в ненависть, по городу распространился исполненный адской злобы призыв:

— Убьем его!.. Этот добрый тиран — самый отвратительный из всех, ибо он отнял у нас даже право на бунт.

А теперь сами догадайтесь, что это за таинственный незнакомец с горящими глазами руководил разрушительными работами под императорским дворцом, под который был подведен подкоп и заложен динамит, во мраке подземелья, где по пояс в воде орудовали заговорщики, сами догадайтесь, кто изгонял из сердец жалость и страх и, когда раздался взрыв, исторг из всех грудей ликующий крик: «Ура!..»

О, бедный император! От него мало что осталось под обломками! Клочки обгорелой бороды да одна рука, от сильного жара скрутившаяся жгутом. И в тот же миг завыла сорвавшаяся с цепи война, небо потемнело от вороньих стай над границами, бойня как началась, так уж потом и не кончилась.

Меж тем как народы с помощью смертоносных орудий истребляли друг друга и всюду, насколько хватал глаз, пылали, точно факелы, взятые

приступом города, — по дорогам, запруженным тележками без возчиков и бегущим скотом, по паровым полям, по берегам рек, красных от крови, мимо безжалостно потоптанных виноградников и посевов легкой стопою шел Иисус с неизменным посохом на плече, и лежал его путь в дальнюю-дальнюю страну, к прославленному врачу по имени Мов, а следом за Иисусом поспешал добрый старый апостол, тщетно пытавшийся умилостивить его.

Искусный целитель людей и животных, Мов стремился подчинить себе все силы природы и найти средство продления человеческой жизни, и он чуть-чуть не нашел его, он был почти у цели, как вдруг однажды по неосторожности его нового помощника, красивого бледного юноши, который после этого бесследно исчез, несколько склянок с летучими ядами остались на ночь незакупоренными, и доктор Мов, отворив утром свою дверь, пал бездыханный.

Таким образом, жизнь человеческая не только не была продлена, а, наоборот, укоротилась, ибо врач собирал у себя для изучения многое множество древних болезней, как, например, особые виды проказы: египетскую и средневековую, и зародыши их, выпущенные из реторт,

распространились по всему миру и опустошили его. Как во времена древних иудеев, появилась несметная сила отвратительных чумных жаб; затем — лихорадки: желтая, злокачественная, перемежающаяся, возвращающаяся на третьи, на вторые сутки, чума, тифы — целый сонм исчезнувших былой вновь появившихся болезней, а также болезней, дотоле неведомых, и все они получили в народе общее название «болезни доктора Мова».

Храни вас господь, дети мои, от этой ужасной болезни!

Кости плавились, как стекло, мускулы сами выдергивались, как нитки. Боль была так сильна, что уже не хватало сил кричать. Прежде чем умереть, больные распадались на части, их тела, превратившись в кашу, валялись на дорогах, а чтобы подобрать их, у дорожных мастеров не хватало ни лопат, ни повозок.

— Ишь ты!.. Славно мы потрудились!.. — говорил апостол Петр деланно веселым голосом, в котором, однако, слышались слезы. — А теперь, учитель, не пора ли нам домой?.. Я уж соскучился.

Иисус отлично знал, что под этой личиной скуки скрывается великая жалость к людям, но,

несмотря на свое мягкосердечие, он поклялся истребить их всех до единого. И то сказать: они его довели!.. Всякому терпению приходит конец.

И вот как-то раз, когда он ранним, розовым с прозеленью утром молча шел вместе со старым апостолом по деревне, внезапно сквозь мычанье коров и пенье петухов, приветствовавших восходящее солнце, до него долетел вопль человека, крик женщины, и крик этот, чередуя приливы и отливы, точно морская волна, то при потугах мощно вздымался, грозя просверлить небосвод, то, чуть отлегнет, замирал, переходя в тихий протяжный стон, стон, который узнает всякий, кто хоть когда-нибудь слышал его. Новое существо являлось на заре в мир. Иисус в раздумье остановился. Если они все еще рождаются, то какой же смысл уничтожать их?.. И, повернувшись к лачуге, из которой доносился вопль, он угрожающе простер свою белую руку.

— Смилуйся!.. Смилуйся, учитель, над крошками!.. — всхлипнул добрый апостол Петр.

Господь быстро успокоил его.

Он сделает подарок и этому младенцу, и всем, которые народятся на земле. Петр не посмел спросить, какой же именно, но я вам скажу, друзья мои. Иисус стал наделять бедных агнцев опытом,

и это был несчастный дар.

В самом деле, прежде опыт умирал вместе с человеком. А теперь, благодаря Иисусовым щедротам, опыт на земле стал накапливаться. Дети рождались печальные, старообразные, разочарованные. Едва открыв глазки, они уже видели конечную цель всего сущего, и в мире стало твориться что-то ужасное: младенцы кончали с собой, малые детки в отчаянии накладывали на себя ручонки.

Но этим дело не ограничилось: проклятый богом род человеческий не желал исчезать, — несмотря ни на что, он упорно продолжал жить.

Тогда, чтобы поскорее разделаться с ним, Христос отнял у мужчин и женщин способность любить, отнял чувство прекрасного. На земле не осталось больше ничего светлого, люди уже не находили отрады ни в молитве, ни в сладострастии. Люди искали только забвения, не мечтали ни о чем, кроме сна… О, скорей бы уснуть!.. Только бы ни о чем не думать, только бы не жить…

Как видите, бедный род человеческий находился в весьма плачевном состоянии, да и это состояние, конечно, продолжалось бы недолго, так как неутомимый истребитель не мешкал. Он по-прежнему в образе странника с узелком на

конце посоха бродил по свету, а за ним плелся его усталый, сгорбленный спутник, на щеках у которого борозды от проливаемых слез становились все глубже, по мере того как учитель, проходя по земле, насылал на людей извержения вулканов, циклоны и землетрясения.

Но вот однажды, ясным утром Успеньева дня, Иисус шествовал по водам так, как об этом рассказывается в Евангелии, и наконец очутился среди островов Океании, в той самой части Тихого океана, где плывем сейчас мы с вами.

С букета цветущих островов ветер донес до него голоса женщин и детей, распевавших провансальские песни.

— Э, да это никак тарасконцы! — воскликнул апостол Петр.

Иисус обернулся к нему.

— Наверно, эти тарасконцы дурные христиане?

— Ах, учитель, они уже давно исправились! — боясь, что по мановению божественной десницы остров, к которому они приближались, поглотят волны, поспешил ответить сердобольный апостол.

Вы, конечно, догадались, что остров этот был Порт-Тараскон, жители которого в Успеньев день

устроили торжественную процессию.

И какую процессию, дети мои!

Впереди шли кающиеся, всякого рода кающиеся: синие, белые, серые, всех цветов, и звонили в колокольчики, сливавшие воедино свои хрустальные и серебристые звуки. За кающимися следовали общины женщин, и женщины эти были в длинных белых покрывалах, как обыкновенно изображают мучениц в раю. За ними несли древние хоругви, до того высокие, что вытканные на них святые с нимбами, вышитыми золотом по шелку, казалось, нисходили на толпу с неба. Далее несли чашу со святыми дарами под воздухом из красного бархата, тугим, тяжелым, увенчанным высокими султанами, рядом детский хор нес на длинных позолоченных палках большие зеленые фонари с зажженными свечечками. А сзади валил и стар и млад — народ молился и пел вовсю.

Процессия, обходя остров кругом, то спускалась на песчаный берег, то взбиралась на холмы и горы, и там, на вершинах, от больших раскачивавшихся кадил струился прямо к солнцу легкий сизый дымок.

— Как красиво!.. — прошептал в изумлении апостол Петр и больше не прибавил ни сло-

ва, — после стольких тщетных усилий он уже не надеялся смягчить своего спутника, но на сей раз ошибся.

Сын человеческий, растроганный до глубины души этими порывами наивной веры, смотрел на развевающиеся хоругви Порт-Тараскона и, стоя неподвижно на гребне волны, в первый раз пожалел о том, что сделался орудием смерти.

Внезапно он, подняв голову, обратил свое кроткое, бледное лицо к небу, и в безмолвии притихшего моря прозвучал его громовой, наполнивший собой вселенную голос:

— Отец! Отец! Повремени!..

И, разделенные световым пространством, отец и сын поняли друг друга без дальних слов.

На этом отец Баталье кончил свой рассказ. Взволнованные слушатели сидели молча, не шевелясь, как вдруг с капитанского мостика «Ту-ту-пампама» раздался голос Скрапушина:

— Господин губернатор! Показался остров Порт-Тараскон. Через час станем на рейде.

Тут все вскочили, и поднялся неистовый гам.

VI

Прибытие в Порт-Тараскон. Никого. Высадка ополчения. Апте… Безю… Бравида устанавливает связь. Ужасная катастрофа. Татуированный аптекарь

— Что за черт!.. Никто не вышел нас встретить… — как только гул первых криков восторга утих, проговорил Тартарен.

Должно быть, с суши еще не успели заметить корабль.

Нужно дать знать о своем прибытии. И вот три пушечных выстрела прокатились над двумя длинными, поросшими влажною, тучною зеленью островами, между которыми стал пароход.

Все взоры обратились к ближнему берегу, к узкой песчаной полоске в несколько метров шириною; над этой полоской возвышалась крутая гора, и по ее обрывам с вершины в море низвергалась темно-зеленая растительность.

Когда раскаты пушечных выстрелов прекратили свою воркотню, неприветливые острова вновь окутала мертвая тишина. Нигде ни души.

А главное, не видно ни порта, ни форта, ни города, ни молов, ни сухих доков — ничего!.. Это уж непостижимо.

Тартарен обратился к Скрапушина, который подал команду бросить якорь:

— Вы уверены, капитан?..

Вспыльчивый моряк разразился потоком брани. Ах, разэтакий такой, уверен ли он!.. Кто-кто, а уж он, разрази гром, свое дело знает!.. Уж корабль-то вести он умеет!..

— Принесите мне карту острова, Паскалон… — не теряя присутствия духа, сказал Тартарен.

К счастью, он располагал картой большого масштаба, и на ней были тщательно нанесены мысы, заливы, реки, горы — все вплоть до наиболее примечательных городских монументов.

Карту немедленно разложили, и Тартарен, окруженный всеми своими спутниками, водя по ней пальцем, принялся изучать ее.

Так, так… Здесь остров Порт-Тараскон… Другой остров, напротив, вот он… Мыс… Отлично… Налево коралловые рифы… Великолепно… Но тогда что же? Город, порт, жители — куда это все делось?

Слегка заикаясь, Паскалон робко высказал предположение, что, быть может, это шутка

Бомпара, проказы которого были известны всему Тараскону.

— С Бомпара это станется... — заметил Тартарен. — Но такой благоразумный, такой положительный человек, как Безюке... Да и потом, сколько ни шути, а ведь целый город, порт и ремонтные доки под полой не спрячешь.

В подзорную трубу можно было разглядеть на берегу что-то вроде барака, но коралловые рифы не подпускали корабль ближе, а на таком расстоянии все заслоняла темно-зеленая листва.

Пассажиры, уже готовые к высадке, с узелками в руках, среди них — престарелая вдовица д'Эгбулид, не расставававшаяся с грелкой, в полном недоумении озирались вокруг, и этому всеобщему оцепенению поддался сам губернатор, ибо все слышали, как он вполголоса произнес:

— Странно, более чем странно!..

Впрочем, он тут же приосанился:

— Капитан, снарядите большую шлюпку! Командир Бравида, трубите сбор ратников ополчения!

Пока горнист выпевал свое «ту-ру-ру», пока Бравида производил перекличку, Тартарен, как ни в чем не бывало, успокаивал дам:

— Не волнуйтесь. Я уверен, что все объяснит-

ся…

Мужчинам, остававшимся на корабле, он говорил:

— Мы вернемся через час. До нашего возвращения пусть никто не трогается с места.

А пассажиры и не думали трогаться, — они обступили Тартарена и повторяли за ним:

— Да, да, господин губернатор… Все объяснится… Мы тоже уверены…

И в эту минуту Тартарен в их глазах вырастал до колоссальных размеров.

В шлюпке, кроме него, заняли места его секретарь Паскалон, капеллан отец Баталье, Бравида, Турнатуар, Экскурбаньес и ратники ополчения, все, как один, вооруженные до зубов, с саблями, топорами, револьверами, карабинами, а Тартарен, разумеется, не забыл взять с собой пресловутый тридцатидвухзарядный винчестер.

Когда шлюпка подошла ближе к пустынному, без малейших признаков жизни берегу, показалась сколоченная из бревен и досок ветхая пристань на замшелых сваях, погруженных в стоячую воду. Неужели это тот самый мол, на который туземцы выходили встречать пассажиров «Фарандолы»? Просто невероятно! Чуть поодаль виднелось нечто похожее на старый барак с за-

крытыми железными, выкрашенными суриком ставнями, от которых неподвижная вода в затоне принимала кровавый отсвет. Деревянная крыша барака потрескалась, осела.

Едва успев высадиться, переселенцы побежали к бараку. Он и внутри оказался такой же развалиной, как и снаружи. Сквозь дырявую крышу были видны широкие ленты небесной лазури, покоробившийся, прогнивший пол проваливался, в щели уползали огромные ящерицы, на стенах кишмя кишели черные насекомые, липкие жабы мокли по углам. Тартарен, войдя первым, чуть не наступил на змею толщиной в руку. Всюду стоял противный, тошнотворный запах сырости, плесени.

Уцелевшие остатки перегородок указывали, что барак был разделен на ряд тесных помещений, не то вроде стойл в конюшне, не то вроде кают. На одной из перегородок крупными буквами было выведено: «АПТЕ… БЕЗЮ…» Остальное съела плесень. Однако и несведущий человек легко мог догадаться, что это означало: «Аптека Безюке».

— Я понял, в чем дело, — сказал Тартарен. — Климат на этом склоне горы нездоровый, и, попытавшись сначала устроиться здесь, они в

конце концов обосновались по ту сторону.

Затем он решительным тоном приказал командиру Бравида повести ратников ополчения в разведку, — как только, мол, они взойдут на вершину и окинут взором весь остров, так, конечно, увидят дымящиеся трубы города.

— УстанОвите связь — сейчас же дайте нам знать ружейным залпом.

А он, Тартарен, останется здесь, внизу, в штаб-квартире, с секретарем, капелланом и другими.

Бравида и лейтенант Экскурбаньес построили своих людей и тронулись в путь. Ратники ополчения сначала хорошо держали строй, но идти вверх по горе, покрытой вязким и скользким мхом, было нелегко, и ряды скоро смешались.

Перейдя ручеек, ратники обнаружили на том берегу остатки мостков и кем-то забытый валек, уже зеленые от всюду набивавшегося и все разъедавшего мха. Немного дальше виднелись развалины какого-то строения, по-видимому, блокгауза.

Когда же разведчики наткнулись на сотни ям, расположенных на очень близком расстоянии одна от другой и предательски прикрытых сверху колючками и лианами, то боевой порядок ратников ополчения расстроился окончательно.

Несколько человек провалилось, спугнув своим падением, лязгом оружия и снаряжения жирных ящериц, вроде тех, что ползали в бараке. Ямы, однако, оказались невелики. Это были ряды неглубоких выемок.

— Похоже на старое кладбище, — заметил лейтенант Экскурбаньес.

На эту мысль навели его ветки, кем-то переплетенные как бы крестом, но теперь вновь зазеленевшие, мало-помалу принимавшие свое естественное положение, напоминавшие лозы дикого винограда. Во всяком случае, это было заброшенное кладбище; разведчики нигде не обнаружили ни одной кости.

Долго еще шли они вверх, с трудом продираясь сквозь частый кустарник, и наконец достигли вершины. Тут уже дышалось вольнее, воздух на горе беспрестанно освежался ветром, насыщенным запахами моря. Вдали простиралась широкая равнина, спускавшаяся к морю незаметно для глаза. По-видимому, город был именно там.

Один из разведчиков указал на столбы дыма, а Экскурбаньес весело крикнул:

— Чу!.. Тамбурины!.. Фарандола!..

Плясовой ритм фарандолы ни с чем нельзя бы-

ло спутать. Порт-Тараскон шел к ним навстречу.

Уже видны были люди — из-за противоположного склона на том конце плоскогорья показалась толпа.

— Стой! — внезапно скомандовал Бравида. — Да это уж не дикари ли?

Впереди всей оравы под стук тамбуринов плясал высокий, худой чернокожий, в матросском тельнике, в синих очках, и потрясал томагавком.

Оба войска остановились и принялись рассматривать друг друга на расстоянии, как вдруг Бравида залился хохотом:

— Это уж он пересолил!.. Ах, проказник!..

И, вложив саблю в ножны, помчался вперед.

Ратники кричали ему вслед:

— Командир!.. Командир!..

Но он их не слушал, он бежал по направлению к танцующему и, полагая, что обращается к Бомпару, кричал:

— Узнал, узнал тебя, дружище!.. Уж это чересчур по-дикарски!.. Чересчур первобытно!..

Тот, вертя своим оружием, продолжал плясать. Когда же несчастный Бравида убедился, что перед ним настоящий канак, было уже поздно: тяжким ударом палицы дикарь пробил ему пробковый шлем, вышиб из его немудрой головы мозг, и

Бравида растянулся на земле.

В то же мгновение взметнулся вихрь воплей, пуль и стрел. Видя, что командир убит, ратники ополчения инстинктивно открыли огонь, а затем пустились наутек, не заметив, что и дикари спасаются от них бегством.

Тартарен услыхал стрельбу.

— Они установили связь! — радостно воскликнул он.

Но немного спустя ликование у него в душе сменилось ужасом: его солдатики неслись сломя голову, перепрыгивая через кусты, кто без шапки, кто без сапог, и оглашали воздух устрашающим криком:

— Дикари!.. Дикари!..

Поднялась невероятная паника. Шлюпка отчалила и стала быстро удаляться. Губернатор бегал взад и вперед вдоль берега.

— Спокойствие!.. Спокойствие!.. — кричал он осипшим голосом, голосом испуганной чайки, и этим только наводил еще больше страху на своих соотечественников.

Несколько минут на узкой песчаной полосе продолжалась кутерьма повального бегства, но так как никто толком не знал, куда бежать, то все в конце концов сбились в кучу. К тому же дикари

не показывались; можно было устроить поверку, расспросить.

— А командир?

— Убит.

Выслушав рассказ Экскурбаньеса о роковой ошибке Бравида, Тартарен воскликнул:

— Бедный Пласид!.. Как это было неосмотрительно!.. Во враждебной стране!.. Стало быть, он не произвел разведки…

Тартарен немедленно отдал приказ расставить часовых, и отряженные в караул двинулись попарно медленным шагом, твердо решив не отрываться от главных сил. Потом всех созвали на совет, а Турнатуар между тем занялся перевязкой раненого, пораженного отравленной стрелой и чудовищно пухнувшего у всех на глазах.

Слово взял Тартарен:

— Прежде всего надо избегнуть кровопролития.

Он предложил послать отца Баталье с пальмовой ветвью: отец Баталье, мол, станет издали помахивать ею, а сам в это время разведает, что творится у неприятеля и что сталось с первой партией переселенцев.

— А, да ну вас с вашей пальмой!.. — вскричал отец Баталье. — Дайте-ка мне лучше ваш тридца-

тидвухзарядный винчестер.

— Что ж, если его преподобие не хочет идти, так я пойду сам, — объявил губернатор. — Но вам все-таки придется пойти со мной, господин капеллан, а то ведь папуасский язык я знаю неважно.

— Я тоже…

— Дьявольщина!.. Чему же вы меня тогда три месяца учили?.. Какого же языка уроки я брал на корабле?..

Отец Баталье, как истинный тарасконец, моментально вышел из положения, заявив, что он знает язык не здешних папуасов, а папуасов тамошних.

Во время этих пререканий вновь вспыхнула паника: в том направлении, куда ушли часовые, загремели ружейные выстрелы, и из чащи леса послышался отчаянный голос, кричавший с тарасконским акцентом:

— Не стреляйте!.. Не стреляйте, прах вас побери!..

Мгновение спустя из кустов выскочило какое-то необыкновенно безобразное существо, с ног до головы выпачканное в красной и черной краске, точно оно надело на себя костюм клоуна. Это был Безюке.

— Э!.. Да это Безюке!

— Эге! Ну как дела?

— Что тут происходит?..

— Где же остальные?

— Где город, порт, сухой док?

— От города, — ответил аптекарь, указывая на развалившийся барак, — осталось вот что, от жителей — вот кто. — Тут он указал на себя. — Но только прежде дайте мне что-нибудь накинуть, чтобы не видать было тех мерзостей, которыми эти негодяи меня изукрасили.

В самом деле, дикари острым концом стрелы нарисовали на его коже всякие пакости, какие только могло измыслить их грязное горячечное воображение.

Экскурбаньес дал ему свой плащ сановника первого класса, и, пропустив для бодрости водки, злосчастный Безюке с еще не утраченным им акцентом и по-тарасконски велеречиво начал рассказывать:

— Нынче утром вы пришли в горестное изумление, удостоверившись, что город Порт-Тараскон существует только на карте. Представьте же себе, как мы, прибыв на «Люпифере» и на «Фарандоле»...

— Простите, я вас перебью, — заметив, что часовые на опушке леса подают тревожные сигналы,

сказал Тартарен. — Лучше, если мы выслушаем вас на корабле, — там нам будет спокойнее. Здесь на нас могут напасть каннибалы.

— И не подумают… Ваши выстрелы обратили их в бегство… Они покинули остров, а я этим воспользовался и удрал от них.

Тартарен стоял на своем. Он считал необходимым, чтобы Безюке рассказал обо всем Большому совету. Положение было серьезное.

Шлюпке, которая с самого начала стычки трусливо держалась на расстоянии, дали знак подойти к берегу, а затем она переправила всех на корабль, где с нетерпением ждали, чем кончится первая рекогносцировка.

VII

Продолжайте, Безюке… Кто такой герцог Монский: обманщик он или нет? Адвокат Бранкебальм. Verum enim vero[8], «постольку» из «поскольку». Плебисцит. «Туту-пампам» исчезает вдали

---

[8] Примечания: 8
но поистине *(лат.)*

Мрачную одиссею первых порт-тарасконских поселенцев Безюке рассказывал в кают-компании «Туту-пампама» на заседании Совета, на котором присутствовали старейшины, губернатор, начальники, сановники первого и второго класса, капитан Скрапушина со всем своим штабом, а наверху, на палубе, другие пассажиры, сгорая от нетерпения и любопытства, улавливали только сдержанное гудение аптекарева баса и громкие возгласы его слушателей.

Прежде всего вскоре после погрузки, как только «Фарандола» вышла из Марсельского порта, временно исполнявший обязанности губернатора, он же начальник экспедиции, Бомпар внезапно заболел какой-то непонятной болезнью, по его словам, заразной, и его высадили на берег, полномочия же свои он передал Безюке… Счастливец Бомпар!.. Должно быть, он предвидел, что их ожидало на острове.

Стоявший в Суэце «Люцифер» не мог двигаться дальше по причине своего плачевного состояния, и его пассажиров пришлось взять на борт и без того уже перегруженной «Фарандоле».

А как они страдали от жары на этом проклятом судне! Наверху можно было изжариться на солнце, внизу было тесно и душно.

Когда же они прибыли в Порт-Тараскон, их постигло разочарование, оттого что они ничего не обнаружили: ни города, ни порта, ни каких-либо других построек, но им так хотелось размяться на свободе, что, высадившись на пустынном острове, они все-таки облегченно вздохнули, искренне обрадовались. Нотариус Камбалалет, он же землемер, посмешил их даже уморительной песенкой о землеустройстве океана. Потом стали думать о вещах серьезных.

— Мы тогда решили, — рассказывал Безюке, — отправить корабль в Сидней за строительными материалами и послать вам отчаянную телеграмму, которую вы, конечно, получили.

Тут со всех сторон раздались возгласы недоумения:

— Отчаянную телеграмму?..

— Какую телеграмму?..

— Мы никакой телеграммы не получали…

— Дорогой Безюке! — покрывая гул голосов, заговорил Тартарен. — Мы получили только одну вашу телеграмму, в которой вы нам сообщили, что туземцы вас хорошо встретили и что в соборе был отслужен молебен.

Аптекарь вытаращил глаза от изумления:

— Молебен в соборе? В каком соборе?..

— Потом все объяснится… Продолжайте, Фердинанд… — сказал Тартарен.

— Я продолжаю… — подхватил Безюке.

Повесть его между тем становилась все безотраднее.

Колонисты бодро принялись за дело. Земледельческие орудия у них были, и они начали распахивать новь, но почва оказалась убийственной, на ней ничего не росло. Потом пошли дожди…

Вопль аудитории снова прервал рассказчика:

— Разве здесь бывают дожди?..

— Да еще какие!.. Хуже, чем в Лионе… хуже, чем в Швейцарии… десять месяцев в году.

Слушатели были подавлены. Их взоры невольно обратились к иллюминаторам, в которые был виден густой туман и неподвижные облака над влажною темною зеленью острова.

— Продолжайте, Фердинанд, — сказал Тартарен.

И Безюке продолжал.

Вечные дожди, стоячая вода, тифы, малярия — от всего этого начало быстро разрастаться кладбище. К болезням присоединилась тоска, хандра. Самые стойкие — и те не могли больше работать: так ослабевало тело в этом сыром климате.

Питались консервами, а кроме того, папуасы, жившие на другом конце острова, притаскивали ящериц и змей, приносили на продажу все, что им удавалось наловить и настрелять, и под этим предлогом проникали в колонию, так что в конце концов к этим коварным существам привыкли и перестали их бояться.

Но однажды ночью дикари захватили барак, — нечистая сила лезла в двери, в окна, через крышу, завладела оружием, перебила всех, кто пытался оказать сопротивление, остальных увела в свой лагерь.

Целый месяц после этого шли кровавые пиры. Пленных одного за другим приканчивали ударами палицы, жарили, как поросят, на раскаленных камнях, а затем безжалостные каннибалы поедали их…

Крик ужаса, вырвавшийся у всего собрания, навел страх даже на тех, кто пребывал на палубе, а у губернатора едва хватило сил прошептать:

— Продолжайте, Фердинанд,

На глазах у аптекаря погибли его товарищи: кроткий отец Везоль, вечно улыбавшийся, со всем мирившийся, до самой смерти твердивший: «Слава тебе, господи!» — и нотариус Камбалалет, веселый землемер, нашедший в себе силы сме-

яться даже на угольях.

— И эти изверги заставили меня есть несчастного Камбалалета! — содрогаясь при одном воспоминании, добавил Безюке.

Наступило молчание, а потом вдруг желчный Костекальд, сразу пожелтев, с перекошенным от злобы лицом обратился к губернатору:

— Как же вы нам говорили, писали и заставляли писать других, что здесь нет людоедов?

Пришибленный губернатор опустил голову.

— Нет людоедов!.. — подхватил Безюке. — Да они все людоеды! Человеческое мясо — это у них самое лакомое блюдо, особенно наше мясо, мясо белых тарасконцев: они до того к нему приохотились, что когда съели живых, так принялись за мертвых. Вы были на старом кладбище? Там ничего не осталось, ни одной косточки. Все до одной обглоданы, обсосаны, подчищены, как подчищаем мы тарелки после вкусного супа или после жареного мяса с чесноком.

— А как же вы-то, Безюке, уцелели? — спросил один из сановников первого класса.

Аптекарь полагал, что, живя среди склянок, возясь со всякими снадобьями: мятой, мышьяком, арникой, ипекакуаной, он в конце концов так пропитался ароматами лекарственных трав, что,

по всей вероятности, не понравился дикарям, а может быть, наоборот: из-за аптечного запаха они берегли его на закуску.

— Что же мы теперь будем делать? — выслушав рассказ Безюке, спросил маркиз дез Эспазет.

— Как что делать?.. — по обыкновению сердито заговорил Скрапушина. — Надеюсь, вы тут не останетесь?

— Ну уж нет!.. Конечно, нет!.. — закричали со всех сторон.

— Хотя мне заплатили только за то, чтобы доставить вас сюда, я готов всех желающих увезти обратно, — заявил капитан.

В этот миг тарасконцы простили ему его дурной характер. Они позабыли, что он собирался перестрелять их всех, «как собак». Его обступили, благодарили, жали ему руку. Но тут, покрывая шум голосов, с большим достоинством заговорил Тартарен:

— Поступайте как хотите, господа, а я остаюсь. На меня возложены обязанности губернатора, и я должен их исполнить.

— Губернатора чего? — гаркнул Скрапушина. — Ведь ничего же нет!

Другие его поддержали:

— Капитан прав… Ведь ничего же нет!..

Но Тартарен упорствовал:

— Герцог Монский взял с меня слово, господа.

— Ваш герцог Монский — жулик, — сказал Безюке. — Он и раньше казался мне подозрительным, когда у меня еще не было доказательств.

— Где же они, ваши доказательства?

— В кармане я их с собой не ношу! — С этими словами аптекарь стыдливым жестом запахнул плащ сановника первого класса, коим он прикрывал свою татуированную наготу. — Но недаром умирающий Бомпар, сходя с «Фарандолы», сказал мне: «Бойтесь этого бельгийца, — он лгун...» Бомпар не договорил — он очень ослаб от своей болезни. Впрочем, каких вам еще доказательств? Достаточно того, что герцог загнал нас на этот бесплодный остров с губительным климатом, чтобы мы заселили его и распахали новь, достаточно его лживых телеграмм...

Совет пришел в волнение, все заговорили разом, одобряя Безюке и осыпая герцога бранью:

— Лгун!.. Врун!.. Паршивый бельгиец!..

Один лишь Тартарен героически защищал его:

— Пока я не получу веских доказательств, я не переменю своего мнения о герцоге Монском...

— А мы уже составили о нем мнение: он вор!..

— Он мог поступить опрометчиво, он мог быть

плохо осведомлен…

— Не защищайте его, по нем плачет каторга!..

— Он меня назначил губернатором Порт-Тараскона, и я остаюсь в Порт-Тарасконе…

— Ну и оставайтесь тут один!

— Хорошо, останусь, если вы меня покинете. Только не увозите земледельческих орудий.

— Да ведь вам же говорят, что здесь ничего не растет! — вскричал Безюке.

— Значит, вы просто не сумели, Фердинанд.

При этих словах Скрапушина в сердцах ударил кулаком по столу, за которым заседал Совет.

— Он спятил!.. Я увезу его отсюда насильно, а при попытке к сопротивлению застрелю, как собаку.

— А ну, разэтакий такой, попробуйте!

Это, распалясь гневом, угрожающе воздев длань, выступил на защиту Тартарена отец Баталье.

Началась яростная перебранка, посыпались излюбленные тарасконские выражения, вроде: «Вы одурели… Вы мелете вздор… Вы порете несусветную дичь…»

Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не вмешался наконец начальник юридического отдела адвокат Бранкебальм.

Это был искусный оратор, пересыпавший свои доводы всевозможными перлами, вроде: «В том или ином случае, с одной стороны, с другой стороны», — так что любая его речь, сцементированная по римскому способу, была не менее прочно построена, чем акведук Гарского моста[9]. Искушенный в латыни, воспитанный на Цицероновой логике и красноречии, неизменно выводивший при помощи verum enim vero «постольку» из «поскольку», он воспользовался случайным затишьем, взял слово и, возведя ряд красивых, но бесконечно длинных периодов, в конце концов высказался за плебисцит.

Пусть пассажиры скажут «да» или «нет». С одной стороны, те, кто пожелает остаться, останутся. С другой стороны, те, кто пожелает уехать, отправятся в обратный путь на корабле, как только судовые плотники отремонтируют барак и блокгауз.

Примирительное предложение Бранкебальма было принято, и после этого сейчас же приступили к голосованию.

Весть о таком исходе дела переполошила тех,

---

[9] Примечания: 9

Гарский мост — римский водопровод (акведук), построенный в 19 году и переброшенный через реку Гар. Представляет собой три ряда стоящих друг на друге арок, длина его около 270 метров.

кто находился на палубе и в каютах. Всюду слышались жалобы и стенания. Бедняги вложили все свои средства в пресловутые гектары. Значит, они теряют все, значит, они должны отказаться от уже оплаченной земли, от надежды на колонизацию? Материальный интерес побуждал их остаться, но при взгляде на унылый пейзаж они впадали в нерешительность. Разрушенный барак, темная влажная зелень, за которой мерещились пустыня и каннибалы, перспектива быть съеденными, как съеден был Камбалалет, — все это ничего отрадного не сулило, и сердца переселенцев стремились к столь неблагоразумно покинутому Провансу.

Корабль с толпой эмигрантов напоминал разворошенный муравейник. Престарелая вдовица д'Эгбулид, не расставаясь ни с грелкой, ни с попугаем, бродила по палубе.

В шуме пререканий, предшествовавших голосованию, легко можно было уловить проклятья, посылавшиеся на голову бельгийца, «паршивого бельгийца»... О, теперь это был уже не его светлость герцог Монский!.. Просто — паршивый бельгиец... Слова эти произносились сквозь зубы, со сжатыми кулаками.

Как бы то ни было, из тысячи тарасконцев

полтораста проголосовали за то, чтобы остаться с Тартареном. Большинство их, надо заметить, составляли высокие особы, которым губернатор пообещал оставить их должности и звания.

Когда приступили к дележу продовольствия между отъезжающими и остающимися, опять начались препирательства.

— Вы пополните запасы в Сиднее, — говорили мореплавателям островитяне.

— А вы будете охотиться и ловить рыбу, — возражали те. — Зачем же вам столько консервов?

Тараск тоже вызвал ожесточенные перекоры. Вернется ли он в Тараскон?.. Останется ли в колонии?..

Спор возгорелся жаркий. Скрапушина несколько раз грозился расстрелять отца Баталье.

Дабы водворить мир, адвокат Бранкебальм вынужден был вновь выказать всю свою Нестерову мудрость и прибегнуть к хитроумным verum enim vero. Но ему стоило большого труда успокоить умы, помимо всего прочего возбужденные лицемерием Экскурбаньеса, который всеми силами старался подлить масла в огонь.

Курчавый, вихрастый, крикливый, со своим вечным девизом: *Двайте шумэт*ь!.. — этот лейтенант ополчения был не просто южанин — он

мог сойти за араба не только благодаря смуглому цвету кожи и вьющимся волосам, но и благодаря своей душевной низости, тщеславию, привычке танцевать на задних лапках перед сильным: на корабле — перед капитаном Скрапушина, окруженным матросами, на суше — перед Тартареном, окруженным ратниками ополчения. Каждому из них он по-разному объяснил, почему он избирает Порт-Тараскон.

Скрапушина он говорил:

— Я остаюсь, потому что моя жена должна родить, а если б не это…

А Тартарену:

— Ни за что на свете не поеду я с этим варваром.

Наконец, после долгих раздоров, дележ с грехом пополам был произведен. Тараск остался на корабле, островитяне же получили в обмен на него чугунную пушку и шлюпку.

Тартарен дрался за съестные припасы, за оружие, за каждый ящик с рабочим инструментом.

В течение нескольких дней взад и вперед беспрестанно сновали шлюпки, груженные всякой всячиной: ружьями, консервами, ящиками с тунцами и сардинами, паштетами из ласточек и пампери.

Одновременно в лесу раздавались удары топора, и одно за другим валились деревья — надо было срочно ремонтировать барак и блокгауз. Со стуком топоров и молотков сливались звуки горна. Днем вооруженные ратники ополчения охраняли работников на случай нападения дикарей, ночью располагались биваком на берегу. «Пусть попривыкнут к походной жизни», — говорил Тартарен.

Простились уже перед самым отъездом, и, надо сказать, довольно холодно. Отъезжающие завидовали остающимся, что, впрочем, не мешало им подпускать шпильки:

— Пойдет у вас дело на лад — напишите: мы вернемся…

С другой стороны, как ни бодрились многие колонисты, а в глубине души они были бы рады сесть на корабль.

Наконец судно снялось с якоря, грянул орудийный салют, с суши ответила чугунная пушка, заряженная отцом Баталье, а Экскурбаньес заиграл на кларнете: «Счастливый путь вам, Дюмоле».

Да! А все-таки, когда «Туту-пампам» обогнул мыс и скрылся из виду, на глазах у многих провожающих навернулись слезы, и порт-тарас-

конский рейд показался им вдруг бескрайним.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Порт-тарасконский мемориал. Дневник секретаря Паскалона

В дневнике упоминается обо всем, что говорилось и делалось в свободной колонии, когда ею правил Тартарен

20 сентября 1881 года. Я намерен отмечать здесь важнейшие события, которые произойдут в колонии.

Не знаю только, что со мной будет, до того я завален делами, я правитель канцелярии, на мне вся официальная переписка, а как выдастся свободная минутка, я на своем родном тарасконском наречии наспех строчу стихи: не должна же служба убивать во мне поэта!

Попробую все-таки; потом самому будет любопытно прочесть этот первый опыт истории великого народа. Я никому не говорил о своем начинании, даже губернатору.

После отбытия «Туту-пампама» прошла неделя, и я прежде всего считаю своим долгом отметить, что за это время наше положение улучшилось.

Понемногу обживаемся. Тарасконский флаг, таких же цветов, как и флаг французский, только с изображением Тараска, развевается над блокгаузом.

Здесь разместилось правительство, то есть Тартарен, начальники и возглавляемые ими отделы. Холостые начальники, как, например, я, начальник отдела здравоохранения г-н Турнатуар и главнокомандующий артиллерией и флотом отец Баталье, живут в Правлении и столуются у Тартарена. Гг. Костекальд и Экскурбаньес, люди женатые, питаются и ночуют в городе.

Городом мы называем большой дом, заново отделанный плотниками с «Туту-пампама». Вокруг него разбили нечто вроде бульвара и дали ему громкое название Городского круга, как в Тарасконе. У нас уже образовалась привычка. Мы говорим: «Вечером мы идем в город… Вы были утром в городе?.. Не пойти ли нам в город?..» И это никого не удивляет.

Блокгауз отделен от города ручьем, который мы называем Малой Роной. Когда окно в моей канцелярии открыто, я слышу, как стучат вальками выстроившиеся в ряд под откосом и склоненные над водою прачки, слышу, как они поют, как они перекликаются на своем провансальском языке,

языке красочном и сочном, и мне кажется, что я на родине.

Одно мне отравляет жизнь в Правлении — это пороховой погреб. Нам оставили изрядное количество пороху; сложен он в подвальном этаже вместе с разного рода провиантом, то есть с чесноком, консервами, крепкими напитками, а также с оружием, рабочим инструментом и сельскохозяйственными орудиями. Подвал накрепко запирается, но все равно: от одного сознания, что у вас под ногами столько горючих и взрывчатых веществ, вам становится не по себе, особенно ночью.

25 сентября. Вчера г-жа Экскурбаньес благополучно выродила[10] упитанного мальчика — это первый гражданин, записанный в порт-тарасконские акты гражданского состояния. Его весьма торжественно крестили в нашей маленькой, временной, построенной из бамбука и крытой широкими листьями церкви во имя святой Марфы Латаньерской.

На мою долю выпало счастье быть крестным отцом младенца и кумом мадемуазель Клоринды

---

[10] Примечания: 10

Так говорят в Тарасконе. «Мемориал» пестрит неправильными выражениями; исправить их, по-видимому, не сочли нужным *(Примеч. А. Доде)*

дез Эспазет; правда, моя кума ростом намного выше меня, но зато она такая хорошенькая, такая славненькая, и ее еще красили блики солнечного света, проникавшего сквозь бамбуковую изгородь и между неплотно перевитыми ветвями навеса.

Весь город присутствовал при этой церемонии. Наш добрый губернатор произнес трогательную речь, всех нас умилившую, а отец Баталье рассказал одну из самых красивых своих легенд. В этот день, как в праздник, работы были повсюду приостановлены. После крестин на Городском кругу состоялось гулянье. Все ликовали; у нас было такое чувство, как будто новорожденный принес колонии счастье и надежду на лучшее будущее. Правительство раздало островитянам двойную порцию тунцов и пампери, и за обедом у всех было лишнее блюдо. Для нас, холостяков, зажарили кабана, которого убил маркиз — лучший стрелок на всем острове после Тартарена.

По окончании обеда, оставшись наедине с моим дорогим учителем и почувствовав все его отеческое ко мне расположение, я открылся ему в своей любви к мадемуазель Клоринде. Оказывается, учитель давно уже догадывался: он заулыбался, подбодрил меня и обещал замолвить словечко.

К несчастью, маркиза, урожденная д'Эскюдель де Ламбеск, кичится своим происхождением, а ведь я простой разночинец. Конечно, в нашем роду все, как на подбор, люди хорошие, безукоризненно честные, а все-таки мы чистокровные мещане. Кроме того, мне мешает моя застенчивость и легкое заиканье. Помимо всего прочего, я начинаю лысеть… Вот что значит в такие юные годы управлять целой канцелярией!..

Маркиз — это бы еще ничего! Ему только дай поохотиться… Это не маркиза с ее помешательством на родословной. Вот вам пример ее чванливости. В городе все по вечерам собираются в общей зале. Получается очень мило: дамы вяжут, мужчины играют в вист. И только г-жа дез Эспазет из надменности остается с дочерьми в своей каютке, до того тесной, что переодеваются они по очереди. В этой каморке повернуться негде, а она мало того что сама с дочерьми коротает там вечер, да еще и гостей принимает и поит их липовым цветом и ромашкой, только бы не смешиваться со всеми прочими — до того в ней сильно презрение к меньшой братии. Вот какие дела!

А все-таки я не теряю надежды.

29 сентября. Вчера губернатор собрался в город. Он обещал поговорить обо мне и по возвращении

все рассказать. Можете себе представить, с каким нетерпением я его ждал! Однако, вернувшись, он не проронил ни слова.

За завтраком он нервничал; в разговоре с капелланом у него вдруг вырвалось:

— А знаете ли, нам тут, в Порт-Тарасконе, положительно недостает меньшой братии…

Так как это презрительное выражение «меньшая братия» не сходит с уст г-жи дез Эспазет де Ламбеск, то я заключил, что губернатор ее видел и что предложение мое отвергнуто, но узнать поточнее мне не удалось, потому что он сейчас же перешел на другую тему и заговорил о докладе Костекальда по поводу сельскохозяйственных культур.

А Костекальд доказывал, что положение безнадежно. Все попытки напрасны: маис, пшеница, картофель, морковь — ничто не взошло. Нет чернозема, нет солнца, на поверхности слишком много воды, а в подпочву влага не просачивается, посевы затоплены. Словом, оказалось, что Безюке еще несколько смягчил.

Нужно сказать, что начальник сельскохозяйственного отдела, быть может, нарочно сгустил краски, изобразил все в чересчур зловещих тонах. Скверный он человек, этот Костекальд! Завидует

славе Тартарена и в глубине души ненавидит его.

Его преподобие отец Баталье, не любящий никаких подходов, прямо потребовал его отставки, но губернатор с присущей ему дальновидностью и со свойственной ему выдержкой заметил:

— Не увлекайтесь…

Встав из-за стола, он прошел в кабинет к Костекальду и, как ни в чем не бывало, спросил:

— Ну что, господин начальник, как же насчет культур?

Костекальд, не дрогнув ни единым мускулом, ехидно заметил:

— Я представил доклад господину губернатору.

— Полно, полно, Костекальд, ваш доклад что-то уж слишком мрачен!

Костекальд сразу весь пожелтел:

— Уж каков есть, а если он вам не нравится…

Это было сказано вызывающе, но они были не одни, и Тартарен сдержался.

— Костекальд! — сказал он, и его маленькие серые глазки засверкали. — Я с вами поговорю наедине.

Это было очень страшно, меня даже в пот бросило…

30 сентября. Так я и знал: мое предложение дез

Эспазеты отвергли. Я слишком низкого происхождения. Бывать у них я могу по-прежнему, но надеяться не смею…

Но на что же они сами-то надеются?.. Кроме них, дворян в колонии больше нет. За кого же они рассчитывают выдать дочь? Ах, господин дез Эспазет, нехорошо вы со мной поступили!..

Что же делать?.. Как быть?.. Клоринда любит меня, я знаю, но она девушка благоразумная, она не пойдет на то, чтобы молодой человек ее похитил, бежал с ней и где-нибудь обвенчался… Да и попробуй тут убеги! Ведь мы на острове, отрезаны от всего мира.

Откажи они мне, когда я был всего-навсего аптекарским учеником, это я бы еще понял. Но теперь, когда я занимаю такое высокое положение, когда у меня такое блестящее будущее…

Скольких девушек я осчастливил бы своими притязаниями! Да вот, далеко некуда ходить, малютка Бранкебальм: она хорошая музыкантша, сама играет на фортепьяно и своих сестер обучает; намекни я только — родители были бы в восторге!

Ах, Клоринда, Клоринда!.. Кончились дни счастья!.. И, как назло, с утра зарядил дождь, зарядил на весь день, все заливает, все покрывает мелкой

штриховкой, на все набрасывает серую пелену.

Безюке не солгал. Идет дождь в Порт-Тарасконе, идет и идет!.. Дождь смыкает вокруг вас кольцо, обносит вас частой решеткой, частой, как в клетке для цикад. Нет больше горизонта. Есть дождь, только дождь. Он затопляет землю, подергивает рябью море, и море сливает с дождем падающим поднимающийся дождь брызг и водяной пыли.

3 октября. Губернатор правильно сказал: нам положительно недостает меньшой братии! Поменьше бы благородных отпрысков, поменьше сановников да побольше водопроводчиков, каменщиков, кровельщиков, плотников — тогда бы дела колонии пошли на лад.

Нынче ночью дождь все шел и шел, яростный водяной смерч пробил крышу в большом доме, город затоплен, все утро в Правление поступали жалобы.

Отделы валили друг на друга. Сельскохозяйственники заявили, что это дело секретариата, секретариат утверждал, что это подведомственно здравоохранению, а здравоохранение отсылало жалобщиков в морское ведомство на том основании, что это, мол, плотницкая работа.

В городе росло недовольство «существующим порядком».

А дыра в крыше все увеличивалась, сверху вода лилась потоками, во всех каютках затопляемые жильцы, раскрыв зонтики, злобно переругивались, кричали, возмущались правительством.

Хорошо еще, что мы не терпим недостатка в зонтах! Много их валяется среди всякой рухляди, которую мы привезли на обмен дикарям, — почти столько же, сколько ошейников для собак.

Чтобы остановить наводнение, некая девица Альрик, находящаяся в услужении у мадемуазель Турнатуар, взгромоздилась на крышу и прибила цинковый лист, который она взяла на складе. Губернатор поручил мне написать ей благодарственное письмо.

Упоминаю я об этом происшествии потому, что тут обнаружились слабые стороны нашей колонии.

Администрация у нас превосходная, деятельная, даже, я бы сказал, чересчур громоздкая, истинно французская, но для колонизации нам не хватает рабочих рук, — мы не столько заняты делом, сколько междуведомственной перепиской.

Еще меня поражает вот что: любая из наших важных птиц ведает тем, к чему она меньше всего пригодна и подготовлена. Взять хотя бы

оружейника Костекальда: он всю жизнь провел среди пистолетов, сабель и всякого охотничьего снаряжения, а его назначили начальником сельскохозяйственного отдела. Экскурбаньес всех за пояс заткнул по части изготовления арльских колбас, а его после несчастного случая с Бравида поставили во главе военного ведомства и ополчения. Артиллерия и флот находятся в подчинении у отца Баталье только потому, что у него воинственный нрав, а если разобраться, так он лучше всего служит обедни и рассказывает разные истории.

В городе то же самое. Мелкие рантье, мануфактурщики, бакалейщики, пирожники — все эти почтенные граждане владеют земельными участками, но так как они ничего не смыслят в сельском хозяйстве, то и не знают, как к ним приступиться.

По-моему, один только губернатор действительно знает свое дело. Во всем-то он разбирается, все-то он видел, все читал, а главное, какая у него живость воображения!.. К сожалению, он слишком мягок и старается не замечать дурного. Так, например, он все еще не утратил доверия к этому негодяю бельгийцу, к этому обманщику — герцогу Монскому. Он все еще надеется, что тот

явится сюда с колонистами, с запасом продовольствия, и каждое утро, как только я вхожу к нему в кабинет, прежде всего задает мне вопрос:

— А что, Паскалон, корабля нынче не видно?

И подумать только, что такой благожелательный, такой прекрасный человек, как наш губернатор, нажил себе врагов! Да, уже нажил. Он сам об этом знает и только посмеивается.

— Что меня недолюбливают — это вполне естественно, — говорит он мне иногда, — ведь я же для них «Существующий порядок»!

8 октября. Все утро был занят переписью населения, и ее данные я привожу здесь. Этот документ, относящийся к начальному периоду истории нашей колонии, тем более интересен, что составил его один из основателей колонии, один из тех, кто начал трудиться на ее благо, как только она возникла.

О каждом лице сделано краткое примечание, с тем чтобы сразу можно было определить, кто за, а кто против губернатора. В этом списке отсутствуют женщины и дети, поскольку в голосовании они не участвуют.

КОЛОНИЯ ПОРТ-ТАРАСКОН

Данные переписи

Фамилия: Его превосходительство Тартарен.

Должность и звание: Губернатор, кавалер ордена 1-й степени.

Особые отметки:

Ф.: Тестаньер (Паскаль), именуемый Паскалоном.

Д/з: Правитель канцелярии, сановник 2-го класса.

О/о: Осмеливаюсь утверждать: человек превосходный.

Ф.: Его преподобие отец Баталье.

Д/з: Командующий артиллерией и флотом, капеллан при губернаторе, сановник 1-го класса.

О/о: Мыслит здраво, но легко возбуждается.

Ф.: Экскурбаньес Спиридион.

Д/з: Начальник военного ведомства, командующий ополчением и руководитель хорового кружка, сановник 1-го класса.

О/о: Взять на заметку.

Ф.: Д-р Турнатуар

Д/з: Начальник отдела здравоохранения, главный врач колонии, сановник 1-го класса.

О/о: Превосходный человек.

Ф.: Костекальд Фабий.

Д/з: Начальник сельскохозяйственного отдела, сановник 1-го класса.

О/о: Отвратительный человек.

Ф.: Бранкельмбальм Цицерон.

Д/з: Начальник юридического отдела, сановник 1-го класса.

О/о: Человек очень хороший, но скучный.

Ф.: Торкбьо Марий.

Д/з: Помощник правителя канцелярии, сановник 2-го класса.

О/о: Хороший человек.

Ф.: Безюке Фердинанд.

Д/з: Помощник начальника отдела здравоохранения, заместитель главного врача и фармацевт колонии.

О/о: Хороший человек.

Ф.: Галофер.
Д/з: Ризничий, он же инспектор артиллерии.
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Рюжимабо Антонин.
Д/з: Сотрудник сельскохозяйственного отдела.
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Барбан Сенека.
Д/з: Сотрудник сельскохозяйственного отдела.
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Маркиз дез Эспазет.
Д/з: Лейтенант ополчения.
О/о: Хороший человек.

Ф.: Бомвьейль Досифей.
Д/з: Колонист.
О/о: » »

Ф.: Космиль Тимофей.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Эскара.

Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барафор Альфонс.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Рабина (моряк).
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Кудонья (моряк).
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Руменгас (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Дурладур (моряк).
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Мьежвиль (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Менфор (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Буске (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Лафранк (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Траверсьер.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Буфартиг Нерон.
Д/з: Пирожник.
О/о: » »

Ф.: Пертюс.
Д/з: Содержатель кофейни.
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Ребюфа.

Д/з: Кондитер.
О/о: Хороший человек.

Ф.: Бердула Марк.
Д/з: Барабанщик.
О/о: » »

Ф.: Фуркад.
Д/з: Горнист.
О/о: » »

Ф.: Бекуле.
Д/з: Горнист.
О/о: Плохой человек.

Ф.: Везане.
Д/з: Ратник ополчения.
О/о: Подозрительный.

Ф.: Мальбос.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Кесарг.
Д/з: » »
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Бульярг.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Абидос.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Труяс.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Рейранглад.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Толозан.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Маргути.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Пру.

Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Труш.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Сев.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Сорг.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Кад.
Д/з: » »
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Пюэш.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Боск.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Жув.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Трюфенюс
Д/з: » »
О/о: Отвратительный человек.

Ф.: Роктальяд.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барбюс.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барбуэн.
Д/з: » »
О/о: Плохой человек.

Ф.: Руньонас.
Д/з: » »
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Сосин.

Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Соз.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Рур.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барбигаль.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Меренжан.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Вентебрен.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Гаво.
Д/з: » »
О/о: Плохой человек.

Ф.: Марк-Аврелий.
Д/з: » »
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Кок де Мер.
Д/з: Хорист.
О/о: Хороший человек.

Ф.: Понж-старший.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Гаргас.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Лапалюд.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Безус.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Понж-младший.

Д/з: » »
О/о: Плохой человек.

Ф.: Пишраль.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Мезуль.
Д/з: Охотник.
О/о: » »

Ф.: Устале.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Террон Марк-Антоний.
Д/з: » »
О/о: » »
---

10 октября. Маркиз дез Эспазет и еще несколько искусных стрелков на время дождя устроили себе мишень из жестяных коробок, в которых раньше были тунцы, сардины и пампери, и день-деньской палили по ним из окон.

Теперь, когда новую каску или каскетку достать не так-то легко, бывшие стрелки по фуражкам

превратились в стрелков по консервным банкам. Отличное, в сущности говоря, упражнение. Но Костекальд уверил губернатора, что на это идет много пороху, после чего был издан декрет, воспрещающий стрельбу по жестянкам. Стрелки по консервным банкам в ярости, дворянство ропщет. Зато Костекальд и вся его шайка потирают руки.

Но в чем же можно упрекнуть нашего бедного губернатора? Негодяй бельгиец оплел его, как и всех нас. И разве это его вина, что хлещет дождь и из-за ненастья нельзя устроить бой быков?

С этим злополучным боем быков сплошное невезенье, а уж как радовались тарасконцы, что им удастся его устроить, — нарочно привезли сюда коров и камаргского быка Римлянина, прославившегося на провансальских торжествах.

Из-за дождей скотину не выгоняли, все время держали в хлеву, и вдруг — до сих пор не выяснено, при каких обстоятельствах, я не удивлюсь, если окажется, что здесь замешан Костекальд, — Римлянин пропал.

Он бродит по лесам, совсем одичал, превратился в настоящего бизона. И теперь уж никому в голову не придет вызывать его на бой, — того и гляди, он бросится в бой по собственному почину, вот все и бросаются от него врассыпную.

Что ж, и это, значит, вина Тартарена?..

II
Бой быков в Порт-Тарасконе. Приключения и схватки. Прибытие короля Негонко и его дочери Лики-Рики. Тартарен трется носом о нос короля. Великий дипломат

День за днем, страница за страницей, с той кропотливостью, которая чувствовалась в серой штриховке дождя, с той безнадежно тусклой однотонностью, с какой его сетка затягивала горизонт, ведет летопись жизни колонии лежащий у нас перед глазами «Мемориал». Однако, боясь наскучить, читателям, мы лишь вкратце передадим содержание дневника нашего друга Паскалона.

Так как отношения между городом и губернатором становились все более натянутыми, то, чтобы не утратить окончательно своей популярности, Тартарен решился наконец устроить бой быков, но уже, разумеется, без Римлянина, который по-прежнему бродил где-то в дебрях, а только с тремя оставшимися коровами.

Эти три злосчастные камаргские коровенки, привыкшие в родной Камарге к вольному воздуху, к яркому солнцу, здесь, на острове, отощали, исхудали, да и было от чего: привезли их в Порт-Тараскон, загнали в сырой и темный сарай и за все время ни разу не выпустили. Ну да не беда. Все лучше, чем ничего.

Первым делом на песчаном берегу, где обыкновенно происходили строевые занятия ратников ополчения, сколотили помост, затем вбили колья и протянули между ними веревки, — так была огорожена арена.

Временно распогодилось, и, воспользовавшись этим, «Существующий порядок», разряженный, окруженный сановниками в парадной форме, уселся на возвышении, меж тем как колонисты, ратники, их жены, дочери и служанки толпились подле веревок, а дети бегали по кругу и кричали:

— Эй!.. Эй!.. Быки!..

В этот миг была забыта скука долгих дождливых дней, забыта злоба на бельгийца, паршивого бельгийца.

— Эй!.. Эй!.. Быки!..

Все с ума сходили от радости.

Но вот застучали барабаны.

Это был сигнал. В мгновение ока толпа отхлы-

нула, и на арену, встреченная громким «ура!», вышла корова.

Ничего страшного она собой не представляла. Бедная оголодавшая коровка большими, отвыкшими от света глазами глядела по сторонам. Протяжно, жалобно мыча, отчего затряслись прицепленные к ее рогам ленты, она стала посреди цирка — и ни с места, пока наконец возмущенная толпа дубинами не прогнала ее с арены.

С другой коровой получилось иначе. Никакими силами нельзя было выгнать ее из сарая. Ее толкали, дергали за хвост, тащили за рога, тыкали вилами в морду — так она и не вышла.

Посмотрим теперь, как повела себя третья. Про нее говорили, что она очень сердитая, что ее легко раздразнить. И впрямь: она галопом влетела на арену, роя своими раздвоенными копытами землю, обмахиваясь хвостом и тычась во все стороны мордой… Наконец-то будет настоящий бой!.. Да, как бы не так! Собравшись с силами, корова перемахнула через веревку и, наставив рога на толпу, пробила себе путь прямехонько к морю.

Вода ей была сперва по колено, затем по холку, а она все шла себе да шла. Вскоре над водой остались только ее ноздри да полумесяц рогов. Так

она молча и мрачно простояла здесь до самого вечера. Вся колония осыпала ее с берега бранью, свистела, бросала в нее камнями, причем и свист и ругань относились не только к ней, но и к бедному «Существующему порядку», сошедшему с возвышения.

Так как бой быков не удался, надо было чем-нибудь другим поднять упавший дух островитян. Наилучшим средством отвлечения была признана война, экспедиция против короля Негонко. После кончины Бравада, Камбалалета, Везоля и других славных тарасконцев этот мерзавец бежал со своими папуасами, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Говорили, впрочем, что он обретается мили за две, за три отсюда, где-то на соседнем острове, расплывчатые очертания которого, большую часть года задернутые завесой тумана, можно было различить в ясный день. Тартарен, будучи человеком миролюбивым, долго не решался предпринять поход, но в конце концов политические соображения взяли верх.

После того как была приведена в порядок и починена шлюпка и на ее носу установлена кулеврина, орудийную прислугу при которой составляли отец Баталье и ризничий Галофр, однажды утром двадцать хорошо вооруженных

ратников под командой Экскурбаньеса и маркиза дез Эспазета, сложив в шлюпку запас продовольствия, погрузились и вышли в море.

Отсутствовали они три дня, и дни эти показались колонистам отменно длинными. На исходе третьего дня островитяне, услышав донесшийся с моря пушечный выстрел, высыпали на берег и увидели, что шлюпка, словно подгоняемая ветром триумфа, едва касаясь носом волн, летит на всех парусах.

Она еще не успела пристать к берегу, а восторженные крики подплывавших и Экскурбаньесово «*Двайте шумэть*» уже возвестили островитянам блестящий успех экспедиции.

Каннибалам отомстили жестоко: сожжено множество селений, перебито, согласно показаниям всех без исключения участников похода, несколько тысяч папуасов. Цифра колебалась, но все же оставалась весьма внушительной. О событиях рассказывали тоже по-разному. Одно было несомненно: ратники привезли с собой человек шесть знатных пленников, в том числе самого короля Негонко и его дочь Лики-Рики, коих немедленно препроводили в Правление мимо толпы, рукоплескавшей победителям.

Ратники шли церемониальным маршем, уве-

шанные, точно солдаты Христофора Колумба, возвращавшиеся после открытия Нового Света, множеством разных необыкновенных вещей: блестящими перьями, звериными шкурами, оружием и тряпьем дикарей.

Но больше всего глазели на пленников. Добрые тарасконцы разглядывали их со злорадным любопытством. Отец Баталье велел прикрыть их смуглую наготу одеялами, и они с грехом пополам в них завернулись. При мысли, что эти дикари, в таком наряде шествующие сейчас в Правление, съели отца Везоля, нотариуса Камбалалета и многих других, островитяне содрогались от омерзения, точно они были в зверинце и смотрели, как удавы, залегшие в складках шерстяной подстилки, переваривают пищу.

Король Негонко, высокий черный старик под шапкой курчавых и совершенно седых волос, с раздутым, как у грудного младенца, животом, привесив за бечевку к левой руке трубку из марсельской глины, шел впереди. Рядом с ним, блестя глазенками, в которых так и прыгали чертенята, шла маленькая Лики-Рики с коралловым ожерельем на шее и с браслетами из розовых раковин. За ними шли большие, длиннорукие черные обезьяны и, жутко улыбаясь, скалили острые зубы.

Островитяне попробовали было пошутить:

— Вот теперь будет работа для мадемуазель Турнатуар!

В самом деле: добродетельная старая дева, преследуемая своей навязчивой идеей, уже подумывала о том, как она оденет всех этих дикарей. Но при воспоминании о соотечественниках, съеденных каннибалами, любопытство тарасконцев перешло в ярость.

Раздались крики:

— Смерть им!.. Смерть им!.. Бей их!..

Экскурбаньес, желая прослыть лихим воякой, повторял слова Скрапушина:

— Перестрелять их всех, как собак!..

Чтобы остановить безумца, Тартарен предостерегающе поднял руку:

— Спиридион! Надо уважать законы войны.

Не торопитесь, однако, приходить в восторг от прекрасных слов губернатора — это была с его стороны особая политика, и только.

Горячий защитник герцога Монского, Тартарен в глубине души начал в нем сомневаться. А что, если он в самом деле нарвался на жулика? Тогда, значит, купчей крепости не существует, как не существует и всего остального, остров, будто бы проданный королем Негонко герцогу Монскому,

не принадлежит тарасконцам, а земельные акции — простые бумажки.

Вот почему губернатор не только не перестрелял пленников, «как собак», но даже устроил папуасскому королю торжественную встречу.

Он прочитал книги всех мореплавателей, знал наизусть Кука, Бугенвиля, д'Антркасто[11] и благодаря этому в грязь лицом не ударил.

Он подошел к королю и потерся носом о его нос. Дикарь был, видимо, изумлен, ибо подобный обычай давно уже исчез у этих племен. Полагая, однако, что так, наверно, принято в Тарасконе, король сопротивления не оказал. Глядя на них, и другие пленники, в том числе маленькая Лики-Рики, у которой нос был как у кошки, а вернее сказать — у которой совсем не было носа, захотели во что бы то ни стало проделать ту же церемонию с Тартареном.

После того как все вдоволь потерлись носами, надо было переходить с дикарями на язык слов. Отец Баталье заговорил с ними на «тамошнем» папуасском наречии, но так как оно ничего

---

[11] Примечания: 11

Д'Антркасто Антуан-Реймон-Жозеф де Брюни (1737-1793) французский мореплаватель, возглавлявший первую экспедицию, отправленную на поиски Лаперуза в 1791 году. Исследовал ряд островов Полинезии и Меланезии; заболел во время плавания и умер в море.

общего не имело со «здешним», пленники, разумеется, его не поняли. Цицерон Бранкебальм, немного знавший английский язык, попробовал заговорить с ними по-английски. Экскурбаньес пробормотал несколько слов по-испански, но тоже не имел успеха.

— Дайте им сначала поесть, — сказал Тартарен.

Открыли несколько коробок тунцов. На сей раз дикари поняли, с жадностью набросились на консервы и, уничтожив содержимое жестянок, принялись выскребывать их вымазанными маслом пальцами. Затем король, отнюдь, как оказалось, не дурак выпить, тяпнул водочки и, к великому изумлению Тартарена и всех прочих островитян, хриплым голосом затянул песню:

Охотой иль неволей,
Но только в эти дни
Из башен Тараскона
Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они.

Утробный голос вислогубого дикаря с черными от бетеля зубами придавал тарасконской песне какое-то дикое и жуткое звучание. Но откуда Негонко мог знать тарасконское наречие?

После минутного недоумения все объяснилось.

Прожив несколько месяцев по соседству со злосчастными пассажирами «Фарандолы» и «Люцифера», папуасы выучились говорить так, как говорят на берегах Роны. Конечно, они исказили этот язык, но все-таки при помощи жестов с ними можно было до чего-нибудь договориться.

И в конце концов договорились.

Когда короля Негонко спросили про герцога Монского, то король ответил, что он в первый раз о нем слышит.

Равным образом он заявил, что остров никогда никому не был продан.

Равным образом он заявил, что никакой купчей крепости не было совершено.

Ах, не было совершено?.. Ну что ж! И Тартарен, не моргнув глазом, на том же самом заседании составил купчую крепость. Бранкебальм, сей кладезь учености, изрядно потрудился над тем, чтобы придать ей безукоризненно строгую форму официального документа. Он вложил в нее все свое знание законов, вставил тьму всяких «ввиду того, что…», скрепил ее римским цементом, и получилось нечто сжатое и прочное.

Король Негонко уступал остров Порт-Тараскон за бочонок рому, десять фунтов табаку, два бумаж-

ных зонтика и дюжину собачьих ошейников.

В особом примечании специально оговаривалось, что Негонко, его дочь и их свита могут поселиться на западной оконечности острова, в той его части, куда никто не заходил из боязни наткнуться на Римлянина, знаменитого быка, превратившегося в бизона, — единственное опасное существо во всей колонии.

Все это было обделано и обстряпано на тайном заседании за несколько часов.

Так благодаря дипломатическому искусству Тартарена порт-тарасконские земельные акции стали теперь представлять собой некую ценность, стали что-то значить, чего прежде с ними не случалось.

III

Дождь все идет. Повальная водянка. Суп с чесноком. Приказ губернатора. Чесноку не хватит. Чесноку хватит! Крестины Лики-Рики

А между тем все та же слякоть, все то же серое небо, и дождь льет, льет… По утрам в городе отворялись окна, протягивались руки:

— Идет дождь!

— Идет!..

Он шел беспрерывно, как и говорил Безюке.

Бедный Безюке! Несмотря на все невзгоды, какие довелось ему претерпеть вместе с пассажирами «Фарандолы» и «Люцифера», он все же остался в Порт-Тарасконе: из-за своей татуировки он не решался вернуться в земли христианские. Временно исполняющий обязанности губернатора скоро стал простым аптекарем и младшим врачом под началом у Турнатуара, но он мирился и с этим положением, лишь бы не показывать в цивилизованных странах свою чудовищную физиономию, раскрашенные и испещренные точками руки. Неудачи свои он вымещал на соотечественниках, которым приходилось выслушивать самые мрачные его предсказания. Если они жаловались на дождь, грязь, мокроту, он только пожимал плечами:

— Погодите!.. Это еще что!

И он не ошибался. Люди начинали хворать — на них действовали вечная сырость и отсутствие свежей пищи. Коров давно уже съели. На охотников надежда была плоха, хотя они могли похвалиться такими меткими стрелками, как маркиз дез Эспазет, и хотя правила Тартарена

вошли у них в плоть и кровь: для перепела отсчитать «раз, два, три», для куропатки — «раз, два».

Да вот беда: ни куропаток, ни перепелов — ни черта тут не водилось, даже чайки и буревестники — и те не залетали с моря на эту сторону острова.

На охоте попадались лишь кабаны, да и то редко, или кенгуру, но убить кенгуру очень трудно, оттого что они все время прыгают и скачут.

Тартарен и сам толком не знал, до скольких нужно считать, прежде чем выстрелить в это животное. Когда маркиз дез Эспазет задал ему однажды этот вопрос, он ответил наобум:

— До шести, маркиз…

Дез Эспазет отсчитал шесть, но кенгуру от него убежала, и вместо кенгуру он схватил отчаянный насморк, оттого что охотился под проливным, обложным дождем.

— Пойду-ка я сам на охоту, — заявил Тартарен.

Но из-за ненастной погоды он откладывал это предприятие, а дичи между тем становилось все меньше. Правда, жирные ящерицы на вкус были недурны, но их пресное белое мясо, которое пирожник Буфартиг консервировал по способу «белых отцов», в конце концов опротивело тарасконцам.

К отсутствию свежей пищи прибавилось новое лишение: тарасконцы не могли делать моцион. И то сказать: кому охота шлепать по лужам, по грязи, под дождем?

Городской круг залит, затоплен!

Лишь немногие храбрецы — Эскара, Дурладур, Менфор, Роктальяд — невзирая на проливень, выходили копать землю, распахивать свои «гектары» и упорно старались хоть что-нибудь вырастить, но вырастало во влажном тепле этой земли, которую вечно мочил дождь, нечто весьма странное: сельдерей за одну ночь вымахивал в огромное дерево, жесткое-прежесткое, капуста тоже достигала потрясающих размеров, но все у нее уходило в кочерыжку, длинную, как ствол пальмы, от картофеля же и от моркови пришлось совсем отказаться.

Безюке сказал правду: здесь или совсем ничего не росло, или уж росло до небес.

К этому ряду причин, способствовавших деморализации, прибавьте еще скуку, тоску по далекой отчизне, сожаление об уютных тарасконских беседках, настроенных вдоль позлащенного солнцем городского вала, и не удивляйтесь после этого, что число больных увеличивалось с каждым днем.

К счастью для больных, начальник отдела здравоохранения Турнатуар не верил в фармакопею и, вместо того чтобы пичкать их всякими снадобьями, «замикстуривать» их, как это делал Безюке, прописывал им «супцу с чесночком».

Действовало это безотказно, уж вы мне поверьте! Человек весь распух, ни гласа, ни воздыхания, просит послать за священником и за нотариусом. Приносят ему супцу с чесночком — три головки на небольшой чугунок, туда же три полные ложки свежего прованского масла, гренков — и человек, от слабости не могший говорить, неожиданно восклицает:

— А, чтоб!.. Как здорово пахнет!..

Один запах уже возвращал его к жизни.

Скушает тарелочку, другую, а после третьей опухоль у него опадает, появляется голос, и он встает с постели, а вечером в общей зале уже играет в вист. Не следует, однако, забывать, что все это были тарасконцы.

Только одна-единственная больная — знатная дама из высшего круга, маркиза дез Эспазет, урожденная д'Эскюдель де Ламбеск, — отказалась от Турнатуарова снадобья. Суп с чесноком хорош для меньшой братии, но не для тех, кто ведет свое происхождение от крестоносца… Она не хотела

об этом слышать, равно как и о свадьбе Клоринды с Паскалоном. А между тем состояние несчастной дамы внушало самые серьезные опасения. Ей по-настоящему было *нехорошо.* Под этим неопределенным названием в данном случае надо разуметь некое странное заболевание, род водянки, сущий бич наших южан-колонистов. Это была болезнь уродующая: у больных слезились глаза, живот и ноги пухли. Она напоминала «болезнь доктора Мова» из легенды о сыне человеческом.

Словом, несчастную маркизу «разнесло», как выражается автор «Мемориала». Кроткий и безутешный Паскалон каждый вечер отправлялся в город и всякий раз заставал такую картину: бедная женщина лежала в постели под громадным синим бумажным зонтом, прикрепленным к изголовью, охала и наотрез отказывалась от супа с чесноком, рослая Клоринда заботливо кипятила липовый цвет, а маркиз с видом философа набивал в углу патроны для завтрашней весьма сомнительной охоты.

В соседних клетушках вода стекала с раскрытых зонтов, пищали дети, в общей зале шли шумные споры, сталкивались различные политические убеждения. А дождь все барабанил по стеклам окон, по цинковой крыше, и целые водопады с

шумом низвергались из водосточных труб.

Костекальд между тем продолжал интриговать: днем — в кабинете начальника сельскохозяйственного отдела, вечером — в городе, в общей зале, совместно с такими отпетыми негодяями, как Барбан и Рюжимабо, которые помогали ему распускать зловещие слухи и между прочим такой: «Чесноку не хватит!..»

А вдруг в самом деле нельзя будет достать спасительного, целительного чесноку, этой универсальной панацеи, хранящейся на складе правительства, которое, как уверял Костекальд, наложило на нее лапу? Страшно подумать!

Наветы начальника сельскохозяйственного отдела подхватил — да еще как громогласно! — Экскурбаньес. Существует старая тарасконская пословица: «Пизанские разбойники днем между собой дерутся, а по ночам вместе грабят». Пословица эта как нельзя лучше подходила к двуличному Экскурбаньесу, который в Правлении, при Тартарене, выступал против Костекальда, а по вечерам, в городе, подпевал злейшим врагам губернатора.

Тартарен, славившийся своей кротостью и терпением, не мог не знать про эти нападки. Когда он перед сном покуривал у раскрытого окна труб-

ку, до него вместе с ночными шорохами, вместе с журчаньем Малой Роны и сбегавших с горы ручейков, образовавшихся от дождей, долетали отголоски споров, сердитые голоса, взор его различал сквозь мглу огоньки, мерцавшие в окнах большого дома. И при мысли, что вся эта шумиха поднята Костекальдом, рука его судорожно цеплялась за подоконник, а глаза метали молнии в ночной мрак. Но так как волнение и сырость были ему вредны, он пересиливал себя, закрывал окно и преспокойно шел спать.

Страсти между тем до того разгорелись, что в конце концов он решился на крайние меры: уволил Костекальда и двух его приспешников, мало того — лишил его плаща сановника первого класса, а на его место назначил Бомвьейля, бывшего часовщика, смыслившего в земледелии, пожалуй, столько же, сколько его предшественник, но зато человека заведомо в высшей степени порядочного, помощниками же его вместо Рюжимабо и Барбана назначил бывшего клееночника Лафранка и бывшего торговца «наилучшими» леденцами Ребюфа — выбор был сделан на редкость удачный.

Декрет вывесили ранним утром на дверях большого дома, так что Костекальд, отправляясь на

службу, сейчас же налетел на эту пощечину. И очень скоро всем стало ясно, насколько был прав Тартарен, что так смело действовал.

Часа через два перед резиденцией появилось человек двадцать недовольных, вооруженных до зубов.

— Долой губернатора!.. — кричали они. — Смерть ему!.. В Рону его!.. Вот его куда!.. Вот его куда!.. Пусть подает в отставку! В отставку!

За этим сбродом следовал почтенный Экскурбаньес и ревел громче всех:

— В отставку!.. *Двайте шумэть*!.. В отставку!..

На их несчастье, дождь лил как из ведра, и в одной руке они держали ружье, а в другой — зонт. А правительство, со своей стороны, приняло меры.

Перейдя Малую Рону, мятежники подошли к блокгаузу и увидели такую картину.

В распахнутом настежь окне второго этажа был виден Тартарен со своим тридцатидвухзарядным винчестером, а за ним — преданные ему охотники во главе с маркизом дез Эспазетом, стрелки по фуражкам или, вернее, по консервным банкам, стрелки, которые на расстоянии трехсот шагов по счету «четыре» всадят пулю в кружок этикетки от ящика с пампери.

Внизу, на крыльце, отец Баталье, склонившись

над чугунной пушкой, ждал только сигнала губернатора.

Это было до того неожиданно, до того грозен был вид приведенной в боевую готовность артиллерии, что бунтовщики тотчас же отступили, а Экскурбаньес, которому была свойственна внезапная смена настроений, начал танцевать под самым окном Тартарена дикий танец, который он цинично называл «пляской победы», и орать во всю мочь:

— Да здравствует губернатор!.. Да здравствует существующий порядок!.. *Двайте шумэт*ь!.. Хо-хо-хо!

Сверху раздался зычный голос Тартарена, по-прежнему сжимавшего в руке винчестер:

— Разойдитесь по домам, господа недовольные!.. Я не хочу, чтобы вы стояли тут и мокли под дождем. Завтра мы соберем наш добрый народ и поставим вопрос о доверии. А пока что сохраняйте спокойствие, не то пеняйте на себя!

На другой день состоялось голосование, и «Существующий порядок» получил подавляющее большинство голосов.

Несколько дней спустя после смуты произошло событие радостное, а именно — крестины юной Лики-Рики, маленькой папуасской принцессы,

дочери короля Негонко, воспитанницы его преподобия отца Баталье, довершившего ее обращение, начатое, «слава тебе, господи!», отцом Везолем.

Лики-Рики была прелестная маленькая обезьянка, ладная, статная, гибкая, пухленькая, а убор желтокожей принцессы составляли коралловое ожерелье и платье с голубыми полосками, которое ей сшила мадемуазель Турнатуар.

Крестным отцом у нее был губернатор, крестной матерью — г-жа Бранкебальм.

При крещении ей дали имя Марфы-Марии-Тартарены. По случаю, убийственной погоды, которая стояла в тот день, как, впрочем, и до и после, крестить ее нельзя было в храме св. Марфы Латаньерской, оттого что его лиственный навес давным-давно обрушился и церковь была затоплена.

Все собрались на крестины в общей зале большого дома. Можете себе представить, какие воспоминания пробудил этот обряд в нежной душе Паскалона, еще так недавно принимавшего в нем участие вместе с Клориндой!

В этом месте его дневника, содержание коего мы передаем здесь в общих чертах, размазанными от слез чернилами были выведены слова:

«*Бедный я и бедная она!*»

А на другой день после крестин Лики-Рики произошла ужаснейшая катастрофа… Но события принимают слишком грозный характер — предоставим же слово «Мемориалу».

IV
Продолжение Паскалонова «Мемориала»

4 декабря. Сегодня у нас воскресенье, пошла уже вторая неделя рождественского поста; инспектор флота ризничий Галофр, выйдя нынче, по обыкновению, осмотреть шлюпку, таковой не обнаружил.

Кольцо и цепь вырваны, шлюпка исчезла.

Сперва он решил, что это очередная проделка Негонко и его шайки, которым мы по-прежнему не доверяем, но в отверстии, образовавшемся на месте вырванного кольца, торчал мокрый, грязный конверт, адресованный губернатору.

В конверт были вложены визитные карточки Костекальда, Барбана и Рюжимабо. На карточке Барбана заявили о своем выходе в отставку и расписались еще четыре ратника ополчения: Кесарг, Бульярг, Трюфенюс и Роктальяд.

За несколько дней до этого шлюпку, как на-

рочно, привели в порядок и сложили в нее запас продовольствия, ибо его преподобие отец Баталье решил предпринять еще одну экспедицию. Негодяям повезло. Они увезли с собой все, даже компас, не забыли и свои ружья.

И ведь подумать только: трое из них женаты, побросали жен и кучу детей! Жен — это еще туда-сюда, но детей!..

Вышеописанные события привели всю колонию в ужас. Пока у колонистов была шлюпка, оставалась надежда добраться когда-нибудь до материка, двигаясь от острова к острову, можно было рассчитывать на помощь извне, а теперь всякая связь с внешним миром, по-видимому, утеряна.

Отец Баталье пришел в неописуемую ярость, — он призывал на беглецов все кары небесные, назвал их разбойниками, ворами, дезертирами и еще почище. Экскурбаньес — и тот всюду ходил и кричал, что их самих надо перебить, «как собак», а их жен и детей приговорить к смертной казни через расстреляние.

Один лишь губернатор был невозмутим.

— Не увлекайтесь, — говорил он. — Ведь они все-таки тарасконцы. Их пожалеть надо — хлебнут они горя в дороге! Никто из них не умеет

обращаться с парусом, только Трюфенюс, да и то еле-еле.

Затем ему пришла счастливая мысль воспитать брошенных детей на счет колонии. В глубине души, я думаю, он был рад, что ему удалось избавиться от своего заклятого врага и его присных.

В тот же день его превосходительство продиктовал мне очередной приказ, который был потом расклеен по городу.

ПРИКАЗ

«Мы, Тартарен, губернатор Порт-Тараскона и всех его владений, кавалер ордена первой степени и пр. и пр., призываем население сохранять полнейшее спокойствие.

Виновные будут неукоснительно преследоваться и привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

Исполнение настоящего приказа возлагаю на командующего артиллерией и флотом.»

Чтобы помешать дальнейшему распространению тревожных слухов, он велел мне в конце прибавить: «Чесноку хватит».

6 декабря. Приказ губернатора всем в городе очень понравился.

Позволительно, однако, спросить: «Преследовать виновных? Но каким способом? Где? Чем?» Ну да у нас недаром есть пословица: «Бери быка за рога, а на человека выходи со словом». Тарасконское племя обожает громкие фразы — вот отчего приказ губернатора был всеми принят на веру.

А тут еще разъяснилось, и вот уже все в восторге. На Городском кругу танцы, смех. Славный народ, и до чего же легко им управлять!

10 декабря. Я удостоился неслыханной чести: меня произвели в сановники первого класса.

Приказ об этом я обнаружил сегодня за завтраком у себя под тарелкой. Губернатор был, по-видимому, счастлив, что пожаловал мне высшее отличие. Теперь я сравнялся с Бранкебальмом, Бомвьейлем и его преподобием, и они все радуются моему повышению не меньше меня.

Вечером я пошел к дез Эспазетам — у них все уже было известно. Маркиз поцеловал меня при Клоринде, и та вся вспыхнула от радости. Одна лишь маркиза осталась равнодушна к моему новому достоинству. Она находит, что плащ сановника еще не возносит меня из моей низкой доли. Чего же ей еще нужно?.. Я уже сановник

первого класса! И в таком юном возрасте!..

14 декабря. В Правлении происходит нечто необычайное, такое, что я не без смущения решаюсь поверить моему дневнику.

Губернатор питает нежные чувства!

И к кому? Бьюсь об заклад, что не отгадаете. К своей маленькой крестнице, принцессе Лики-Рики.

Да, да, Тартарен, наш великий Тартарен, отказавшийся от стольких прекрасных партий, не желавший никакой другой спутницы жизни, кроме славы, увлекся этой обезьянкой! Правда, обезьянка — царской крови, приняла христианскую веру, но в душе осталась дикаркой: все такая же лгунья, лакомка, воровка, замашки и повадки у нее преуморительные! Одежда на ней вся в дырах; когда нет дождя, она залезает на самую макушку кокосовой пальмы и оттуда швыряет крепкие, как камень, орехи в наших стариков, норовит попасть им прямо в лысину — это у нее такая милая игра. Однажды она чуть не убила почтенного Мьежвиля.

А разница в возрасте? Тартарену за шестьдесят. Он поседел, располнел. Ей лет двенадцать, от силы пятнадцать, она в возрасте маленькой Флорансы, о которой поется в одной из наших песен:

Она еще малышка -
Не носит пояска.

И вот эта девочка, этот дикаренок будет нашей повелительницей!

Я уже давно замечал кое-что за губернатором. Взять, например, его заигрывания с папашей, старым разбойником Негонко, — он часто приглашал эту нечистоплотную, противную гориллу к нам обедать, хотя тот ест руками и напивается до того, что падает со стула.

Тартарен смотрел на это, как говорится, «сквозь пальцы», а когда маленькая принцесса в подражание своему родителю откалывала какую-нибудь штуку, скажем — наливала нам за ворот воды, мой дорогой учитель мило улыбался, бросал на нее отечески ласковый взор и, как бы прося извинить ее, говорил:

— Она еще дитя…

Но, несмотря на все эти и даже еще более очевидные признаки, я долго не хотел верить. А теперь уже всякие сомнения отпадают.

18 декабря. Сегодня на утреннем совещании губернатор объявил нам о своем намерении жениться на маленькой принцессе.

Он уверял, что это из политических соображе-

ний, что это дипломатический шаг, что этого требуют интересы колонии: Порт-Тараскон отрезан от мира, со всех сторон окружен океаном, союзников не имеет. Женясь на дочери папуасского короля, Тартарен предоставляет в распоряжение колонии армию и флот.

Никто из участников совещания ему не возражал.

Экскурбаньес первый вскочил и от восторга затопал ногами:

— Браво!.. Отлично!.. Когда же свадьба?.. Хо-хо-хо!..

Можно себе представить, какие гадости будет он говорить вечером в городе!

Цицерон Бранкебальм начал, по обыкновению, приводить неопровержимые доводы за и против: «Если, с одной стороны, колония… то нельзя не признаться, что, с другой… в том или ином случае… verum enim vero…» — но в конце концов присоединился к мнению губернатора.

Бомвьейль и Турнатуар пошли по его стопам. Что касается отца Баталье, то он, видимо, был обо всем осведомлен заранее и неудовольствия не выразил.

И смешной же вид был, наверно, у нас: в кабинете царит торжественное одобрительное

молчание, и мы, лицемеры, притворяемся, что верим, будто Тартареном руководят интересы колонии.

Внезапно добрые глаза Тартарена увлажнились слезами радости, и он прошептал:

— И потом, друзья мои, я должен вам сказать, что есть еще одна причина... Я люблю эту крошку.

Это было до того непосредственно, до того трогательно, что все мы невольно растаяли.

— Ну так женитесь, господин губернатор, женитесь!..

Тут все его обступили и стали жать ему руку.

20 декабря. Намерение губернатора вызвало в городе оживленные толки, но, в общем, все смотрят на дело проще, чем я мог предполагать.

Мужчины говорят об этом в шутливом тоне и не без яду, — тарасконцы ведь не могут не съязвить, когда обсуждаются чьи-нибудь любовные похождения.

Большинство дам отнеслись к затее Тартарена менее благоприятно, в особенности мадемуазель Турнатуар и ее окружение. Если уж он задумал жениться, то почему не на своей соотечественнице? Рассуждая таким образом, многие думают о самих себе или же о своих дочках.

Экскурбаньес, вернувшись вечером в город, согласился с дамами и указал на слабые стороны этого предприятия: тесть — мужлан, пьяница, каннибал; невеста тоже, по всей вероятности, отведала мяса тарасконцев. Тартарену стоит еще подумать.

Слушая, что говорит этот оборотень, я едва сдерживался и очень скоро ушел из общей залы, а то бы я наверняка влепил ему затрещину. У тарасконцев кровь-то ведь горячая, ух ты!

Из общей залы я прошел к дез Эспазетам. Маркиза очень ослабела, с постели не встает и все, бедняжка, отказывается от Турнатуарова супа с чесноком, а как только я вошел, она обратилась ко мне с вопросом:

— Ну так как же, господин камергер, будут у новой королевы придворные дамы?

Должно быть, она хотела надо мной посмеяться, а я сейчас же подумал о нас с Клориндой. Если Клоринда сделается фрейлиной или статс-дамой, то она переедет в резиденцию, и тогда мы сможем видеться постоянно… Какое бы это было счастье!..

Когда я вернулся, губернатор уже лег, но я не стал откладывать на завтра и поделился с ним своими планами, а он нашел, что я хорошо при-

думал. Потом я еще долге сидел у его постели, и мы толковали о наших сердечных делах.

25 декабря. Вчера вечером по случаю сочельника вся колония собралась в общей зале. Правительство, сановники — все праздновали наш чудный провансальский праздник за пять тысяч миль от родины.

После того как отец Баталье отслужил полунощницу, был подброшен «прикрой-огонь»: старший из нас взял полено, обнес его вокруг залы, бросил в огонь, а затем плеснул туда белого вина.

Принцесса Лики-Рики тоже была здесь и наслаждалась зрелищем, а также нугой, орешками, пряниками и прочими тарасконскими лакомствами, коими искусный пирожник Буфартиг украсил стол.

Были спеты старинные святочные песенки:

Царь мавританский — жалкий трус,
Хоть и глаза таращит дико.
В пещере плачет Иисус…
А ну, попробуй, царь, войди-ка!

Песни, пирожки, пылающий огонь, вокруг которого мы расселись, — все напоминало нам родину, несмотря на дождь, стучавший по крыше, и на зонтики, раскрытые по той причине, что

потолок в общей зале протекал.

Неожиданно отец Баталье под аккомпанемент фисгармонии запел прекрасную песню Фредерика Мистраля о том, «как Жана Тарасконского корсары в плен взяли», — о том, как некий тарасконец попал в лапы к туркам, как он не постыдился надеть тюрбан и совсем было собрался жениться на дочери паши, но однажды, выйдя на берег, вдруг услыхал провансальскую песню:

Моряки тарасконские пели.
И тогда,
Как под ударами весел вода,
Слезы в груди у него закипели.
Безродный вспомнил край родной,
И дрогнуло черствое сердце,
Невмоготу стала ему
Жизнь среди иноверцев.

При этих словах: «Как под ударами весел вода…» — мы все зарыдали. Сам губернатор, запрокинув голову, глотал слезы, его мощная грудь сотрясалась под лентой ордена первой степени. Как подумаешь, большое влияние на ход событий может иметь вот такая песенка великого Мистраля!

29 декабря. Сегодня в десять часов утра состоялось бракосочетание порт-тарасконского губернатора его превосходительства Тартарена с наследной принцессой Негонко.

Брачный договор подписали: его величество Негонко, поставивший вместо имени крестик, начальники отделов и наиболее видные сановники, затем в общей зале началось венчание.

Обряд был совершен просто, но торжественно: ратники ополчения были при оружии, и военные и штатские — все в полной парадной форме. Один только Негонко портил все дело. Он оскандалился и как король и как отец.

Зато принцесса, в белом платье, с коралловым ожерельем на шее, была обворожительна.

Вечером — великое торжество: всем — двойные порции съестного, пушечные выстрелы, ружейные салюты стрелков по консервным банкам, крики «ура!», песни, всеобщее ликование.

А дождь-то льет!.. А дождь-то лупит!..

V

Появление герцога Монского. Бомбардировка острова. Нет, это не герцог Монский. Спустите флаг, черт побери! Тарасконцам дается двадцать четыре часа на эвакуацию, хотя судна у них нет. Все, разделяющие с Тартареном трапезу, клянутся последовать за губернатором в плен

— Глянь! Глянь!.. Корабль!.. Корабль на рейде!

На крик ратника Бердула, собиравшего утром под проливным дождем черепашьи яйца, порт-тарасконские колонисты высунулись из всех окон и дверей своего заплесневелого ковчега, тысячью уст повторили, как эхо, за ратником Бердула: «Корабль! Глянь, глянь! Корабль!» — и вприпрыжку и вприскочку, точно в английской пантомиме, выбежали на набережную, сразу наполнив ее ревом, сильно напоминавшим рев тюленей.

Как только губернатору дали знать, он, застегивая на ходу свою куртку и весь сияя, несмотря на дождь, от которого подвластные ему островитяне прятались под зонтами, мигом примчался на набережную.

— Что, дети мои, не говорил ли я вам, что он

приедет?.. Это герцог!..

— Герцог?..

— А кто же еще, по-вашему? Ну, конечно, это наш славный герцог Монский едет к нам с провиантом, везет нам оружие, инструмент и рабочие руки — я ведь их у него все время просил.

Посмотрели бы вы, как вытянулись лица у тех, кто особенно возмущался «паршивым бельгийцем», — ведь это надо было иметь наглость Экскурбаньеса, чтобы носиться вихрем по набережной и орать:

— Да здравствует герцог Монский! Хо-хо-хо! Да здравствует наш спаситель!..

Тем временем огромный корабль, возвышавшийся над водой, величественно приближался к рейду. Он дал свисток, выхаркнул пар, с грохотом бросил якорь, но, из-за коралловых рифов, очень далеко от берега, затем смолк и, поливаемый дождем, дальше не двинулся.

Колонисты недоумевали, почему на корабле не торопятся отвечать на их приветственные крики, на маханье зонтами и шляпами. Они нашли, что доблестный герцог суховат.

— Должно быть, он не уверен, что это мы.

— А может, он на нас сердится за то, что мы его бранили?

— Кто бранил? Я никогда его не бранил.

— Я тоже.

— А уж обо мне и говорить нечего…

Среди всеобщего смятения один лишь Тартарен не терял головы. Он отдал приказ поднять над резиденцией флаг и, дабы у герцога не оставалось уже никаких сомнений, выстрелить из пушки.

Пушка выпалила, тарасконский флаг затрепетал в воздухе.

В тот же миг на рейде раздался оглушительный взрыв, корабль скрылся в непроницаемом облаке дыма, а над головами островитян пронеслось с хриплым свистом нечто похожее на черную птицу и, ударившись в крышу склада, снесло целый угол.

На мгновение все остолбенели.

— Да они же в нас стреляют! — взвизгнул Паскалон.

По примеру губернатора колонисты, все, как один, попадали на землю.

— Значит, это не герцог, — шепнул Тартарен Цицерону Бранкебальму.

А тот, плюхнувшись в грязь рядом с ним, решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать приводить свои несокрушимые доводы:

— Если, с одной стороны, не лишено вероятия… то, с другой стороны, можно предположить…

Новый разрыв снаряда прервал его разглагольствования.

Тут отец Баталье вскочил, стал диким голосом звать инспектора артиллерии ризничего Галофра и кричать, что сейчас они вдвоем откроют огонь по неприятелю из чугунной пушки.

— А я вам строго-настрого запрещаю! — завопил Тартарен. — Это безумие!.. Держите его!.. Не пускайте!..

Торкбьо и Галофр, подхватив святого отца под руки, пригнули его к земле, и как раз в эту минуту из корабельного орудия вылетел третий снаряд и опять в направлении флага. Очевидно, цвета тарасконского национального флага раздражали моряков.

Тартарен это понял. И еще он понял, что если флаг убрать, то обстрел прекратится.

— Спустите флаг, черт побери! — заорал он во всю силу легких.

И тогда закричали все:

— Спустите флаг!.. Да спустите же флаг!..

Флаг, однако, реял по-прежнему — ни военные, ни штатские не отваживались на столь опасное дело.

И опять девица Альрик подала пример самоотверженности.

Она «взгромоздилась» на крышу и сняла злополучный флаг.

Только после этого корабль перестал обстреливать остров.

Немного погодя от судна отделились две шлюпки со сверкавшими оружием солдатами, и гребцы, мерно, по-военному, взмахивая длинными веслами, стали грести к берегу.

Когда они подошли ближе, островитяне разглядели, что на корме, над пенистою струей, развевается английский флаг.

До берега англичанам было еще далеко, и Тартарен успел встать, счистить грязь, приставшую к его одежде, послать за орденской лентой и второпях надеть ее поверх зеленой со стальным отливом куртки.

Когда обе шлюпки причалили, вид у него был уже вполне губернаторский.

Первым выпрыгнул из шлюпки надменный английский офицер в надетой набекрень треуголке, а вслед за тем на берегу выстроился целый десант моряков в бескозырках, на которых было написано «Томагавк».

Тартарен ждал их, выпятив для пущей важ-

ности нижнюю губу, как это он делал в особо торжественные минуты; справа от него стоял отец Баталье, слева — Бранкебальм.

Экскурбаньес, бросив своих соотечественников, побежал навстречу англичанам и уже готов был пуститься в пляс перед победителями.

Но офицер ее величества, не обращая внимания на этого паяца, подошел вплотную к Тартарену и спросил по-английски:

— Какой вы национальности?

Бранкебальм, понимавший английскую речь, ответил на том же языке:

— Тарасконской.

Офицер, услышав название, которого ему не приходилось встречать ни на одной морской карте, выкатил свои круглые, как блюдца, глаза и спросил еще более дерзким тоном:

— Что вы делаете на этом острове? По какому праву вы его занимаете?

Бранкебальм перевел его вопрос Тартарену, и тот велел ответить так:

— Передайте ему, Цицерон, что это наш остров, что нам его уступил король Негонко и что у нас имеется купчая крепость, составленная по всей форме.

Бранкебальму не было никакого смысла про-

должать играть роль переводчика. Англичанин обратился к губернатору и на прекрасном французском языке переспросил:

— Негонко? В первый раз слышу… Нет такого короля Негонко.

Тартарен отдал распоряжение немедленно разыскать своего тестя-короля и привести сюда.

А пока что он предложил английскому офицеру пройти в Правление и ознакомиться с документами.

Офицер согласился и проследовал за ним, а шлюпку оставил под охраной моряков, приставивших ружья к ноге и примкнувших штыки. И какие штыки! Сверкающие и до того острые, что при взгляде на них по спине начинали бегать мурашки.

— Спокойствие, дети мои, спокойствие! — на ходу бормотал Тартарен.

Никто, собственно, не нуждался в подобного рода совете, за исключением, впрочем, отца Баталье, который все еще кипятился. Но за ним следили.

— Если вы не уйметесь, ваше преподобие, я вас свяжу! — обезумев от страха, твердил Экскурбаньес.

А в это время шли безуспешные поиски короля

Негонко, всюду раздавались призывавшие его голоса. Наконец кто-то из ратников обнаружил его на складе — король надышался запахом чеснока и деревянного масла, упился спиртом, почти весь запас которого он влил в свою утробу, и теперь мирно храпел между двумя бочками.

В таком виде, грязный, вонючий, предстал он перед губернатором, но толку от него так и не добились.

Тогда Тартарен огласил купчую крепость, а затем показал крестик, который его величество поставил вместо подписи, государственную печать и подписи виднейших должностных лиц колонии.

Уж если, мол, не верить этому подлинному документу, подтверждающему право тарасконцев на остров, то чему же тогда верить?

Офицер пожал плечами:

— Милостивый государь! Этот дикарь — просто мошенник. Он продал вам то, что никогда ему не принадлежало. Остров с давних пор является английским владением.

Приняв к сведению это заявление, внушительным дополнением к которому служили орудия «Томагавка» и штыки морской пехоты, Тартарен счел дальнейшие препирательства излишни-

ми, но зато сорвал злобу на своем недостойном тесте:

— Старый мерзавец!.. Как ты смел уверять нас, что это твой остров?.. Как ты смел нам его продавать?.. Как тебе не стыдно обманывать порядочных людей?..

Но Негонко тупо молчал — его недальний ум, ум дикаря, улетучился вместе с винными и чесночными парами.

— Уведите его!.. — крикнул Тартарен тем ратникам ополчения, которые его привели, и обратился к офицеру, с высокомерным и бесстрастным видом наблюдавшему за этой семейной сценой. — Во всяком случае, милостивый государь, моя честность вне подозрений.

— Это установит английский суд… — с высоты своего величия процедил тот. — Отныне вы мой пленник. Что касается жителей, то они должны в двадцать четыре часа эвакуировать остров, в противном случае мы их расстреляем.

— Расстреляете? Вот тебе на!.. — воскликнул Тартарен. — Прежде всего как же они эвакуируются? Судна-то ведь у нас нет. Разве что вплавь…

В конце концов англичанин, проникшись доводами Тартарена, согласился довезти колонистов до Гибралтара, с тем, однако, условием,

что все оружие будет сдано, включая охотничьи ружья, револьверы и тридцатидвухзарядный винчестер.

Засим он, приставив к губернатору вооруженную охрану, отправился на фрегат завтракать.

Так как в Правлении в это время тоже обыкновенно завтракали, то, осмотрев все латании и кокосовые пальмы, росшие вокруг резиденции, и так и не обнаружив принцессы, сановники оставили для нее за столом место и принялись за еду.

Отец Баталье от волнения позабыл даже прочесть молитву.

Некоторое время все ели молча, уткнувшись в тарелки, как вдруг Паскалон встал и поднял стакан:

— Господа! Наш губернатор вое-енноплененный. Поклянемся же последовать за ним в пле-е-ен…

Тут все, не дав ему договорить, вскочили и, подняв стаканы, огласили резиденцию криками восторга:

— Непременно!

— Вот как бог свят, мы за ним последуем!..

— А как же!.. Хотя бы и на эшафот!..

— Хо-хо-хо!.. Да здравствует Тартарен!.. — завывал Экскурбаньес.

А час спустя все, за исключением Паскалона,

покинули губернатора, все, даже маленькая принцесса Лики-Рики, каким-то чудом обнаруженная на крыше резиденции. При первом же выстреле, не сознавая, что на крыше гораздо опаснее, она туда взобралась и, еле живая от страха, спустилась только после того, как придворные дамы издали показали ей раскрытую коробку сардин, служившую для нее не менее соблазнительной приманкой, чем для вылетевшего из клетки попугая что-нибудь сладенькое.

— Милое дитя мое! — торжественно обратился к ней Тартарен, как только ее подвели к нему. — Я военнопленный. Что бы вы предпочли? Отправиться со мной или же остаться на острове? Я думаю, что англичане позволят вам здесь остаться, но меня уж вы тогда больше не увидите.

Она взглянула на него в упор и, не задумываясь, звонким детским голоском прощебетала:

— Мой остается на остлов.

— Хорошо, вы свободны, — с покорным видом произнес бедный Тартарен, но сердце у него в эту минуту разрывалось на части.

А вечером, оставленный и женой и сановниками, он долго сидел, предаваясь размышлениям, у раскрытого окна в опустевшей резиденции, и только Паскалон делил с ним одиночество.

Вдали мерцали огни города, слышались возмущенные голоса колонистов, песни англичан, расположившихся на берегу, и ропот Малой Роны, вздувшейся от дождей.

Тартарен с тяжелым вздохом затворил окно и, повязав голову большим белым в горошинку платком, сказал своему верному секретарю:

— Что все от меня отреклись, это меня не очень удивило и не очень огорчило, но что и малютка… Откровенно говоря, я думал, что она сильнее ко мне привязана.

Отзывчивый Паскалон постарался утешить его. Что ни говори, но возвращаться в Тараскон с таким багажом, как эта принцесса-дикарка, — а в Тараскон они рано или поздно непременно вернутся, — было бы довольно оригинально, и когда жизнь у Тартарена снова наладится, то папуаска только бы стесняла, компрометировала его…

— Вспомните, дорогой учитель, как вас извел ве-ерблюд, когда вы возвращались из Алжира…

Но тут Паскалон запнулся и покраснел. Что ему пришло в голову сравнивать верблюда с принцессой королевской крови? И, чтобы загладить свою бестактность, Паскалон обратил внимание Тартарена, что он сейчас в таком положении, в каком находился Наполеон, когда его взяли в

плен англичане и когда его оставила Мария-Луиза[12].

— А ведь и правда, — весьма польщенный подобным сближением, согласился Тартарен.

И, утешенный сознанием, что у него общая судьба с великим Наполеоном, он спал потом всю ночь, не просыпаясь.

На другой день, к великой радости колонистов, Порт-Тараскон был эвакуирован. Потеря денег, несуществующие «гектары», грандиозная банковская операция «паршивого бельгийца», который их надул, — все казалось им теперь сущими пустяками, так счастливы были они вырваться из этого болота.

Во избежание столкновений с «Существующим порядком», на который они теперь сваливали всю вину, их посадили на корабль раньше Тартарена.

Когда их вели к шлюпкам, Тартарен выглянул в окно, но принужден был тотчас же скрыться, ибо все при виде его дружно засвистели и замахали кулаками.

---

[12] Примечания: 12

15 июля 1815 года Наполеон сдался на милость англичанам и был доставлен на судно «Беллерофонт». Мария-Луиза, вторая жена Наполеона (1791-1847), после разгрома Наполеона покинула мужа и сына и отправилась к отцу, австрийскому императору Францискуу I.

Конечно, в солнечный день они были бы снисходительнее, но беда в том, что погрузка происходила под настоящим проливнем, и несчастные тарасконцы шлепали по грязи, унося на подошвах целые комья этой проклятой земли и кое-как прикрывая зонтиками свои убогие пожитки.

Когда все колонисты покинули остров, пришел наконец черед Тартарена.

Паскалон все утро провел в хлопотах, готовился к отъезду, увязывал архив колонии.

В последнюю минуту его осенила гениальная мысль посоветоваться с Тартареном, не надеть ли ему в дорогу плащ сановника первого класса.

— Надень, надень, это произведет на них впечатление! — сказал губернатор.

И он сам надел ленту ордена первой степени.

Внизу уже стучали ружейные приклады конвоя и рявкал офицер:

— Господин Тартарен! Господин губернатор! Пора!

Прежде чем сойти вниз, Тартарен в последний раз окинул взором этот дом, где он любил, где он страдал, где он познал все муки властолюбия и сердечного влечения.

Но тут он, заметив, что правитель канцелярии прячет под плащом какую-то тетрадь, спросил,

что это такое, и попросил показать. Паскалону ничего другого не оставалось, как признаться дорогому учителю, что это мемориал.

— Ну что ж, продолжай, дитя мое, — ласково промолвил Тартарен и дернул его за ухо, подобно тому как Наполеон дергал за ухо своих гренадеров, — ты будешь моим маленьким Лас-Казом.

Вот уже второй день он упорно думал о схожести своей и Наполеоновой судьбы. Да, несомненно… Англичане, Мария-Луиза, Лас-Каз…[13] Точно такие же обстоятельства и тот же характер. И оба южане, черт побери!

[13] Примечания: 13

Лас-Каз Эмманюэль (1766 — 1842) — морской офицер, последовавший за Наполеоном на остров св. Елены. На этом острове он пробыл до ноября 1816 года, а затем вынужден был покинуть его из-за конфликта с английским губернатором Гудсоном Лоу (1769-1844). Лас-Каз записывал высказывания Наполеона; эти записи послужили ему материалом для книги «Мемориал св. Елены» (1823).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Прием, оказанный англичанами Тартарену на борту «Томагавка». Последнее «прости» острову Порт-Тараскон. Губернатор беседует на палубе со своим маленьким Лас-Казом. Костекальд отыскался. Супруга командора. Тартарен первый раз в жизни стреляет в кита

Горделивая осанка Тартарена, поднявшегося на палубу «Томагавка», произвела на англичан сильное впечатление, но больше всего их поразила розовая орденская лента с вышитым на ней изображением Тараска, которую губернатор носил как масонский знак, а равно и Паскалонов плащ сановника первого класса, красный с черными полосами, длинный до пят.

Англичане, как известно, испытывают особое почтение к чинам, к служебному положению и к проявлениям мабулизма (от арабского слова *мабул* — простодушный, чудаковатый).

На верхней ступеньке трапа Тартарена встре-

тил дежурный офицер и с великим почетом проводил в каюту первого класса. Паскалон последовал за ним и был вознагражден за свою преданность: ему отвели каюту рядом с губернатором, а между том других тарасконцев, на которых англичане смотрели как на стадо презренных эмигрантов, загнали на нижнюю палубу и туда же впихнули весь бывший генеральный штаб острова, наказанный таким образом за малодушие и вероломство.

Каюту Тартарена отделял от каюты верного ему секретаря, во-первых, небольшой салон, где стояли диваны, где на стенах висело оружие и где красовались экзотические растения, а во-вторых, столовая, атмосферу которой освежали две глыбы льда, сверкавшие по углам в вазах.

К его превосходительству были приставлены для услуг метрдотель и два или три лакея, а тот принимал все почести с полнейшим равнодушием и на всякую любезность отвечал *«прррэкрасно»* тоном властелина, привыкшего к знакам уважения и внимания.

Когда начали выбирать якорь, Тартарен, несмотря на дождь, поднялся на палубу сказать острову последнее «прости».

Остров обозначился перед ним нечетко, но

сквозь серую пелену тумана все же можно было различить шайку разбойников во главе с королем Негонко, грабивших город и резиденцию и лихо отплясывавших на берегу фарандолу.

Стоило отбыть миссионеру отцу Баталье, стоило отбыть блюстителям порядка — и в новообращенных тотчас же заговорил могучий природный инстинкт.

Паскалону даже привиделся среди пляшущих стройный силуэт Лики-Рики, но он промолчал, так как не хотел огорчать губернатора, который, впрочем, ко всему относился в высшей степени безразлично.

Заложив руки за спину, и застыв в величественной позе, точно памятник какому-нибудь историческому деятелю, тарасконский герой смотрел перед собой невидящим взглядом, все крепче задумываясь над общностью своей судьбы с судьбой Наполеона, к вящему своему удивлению отыскивая между великим человеком и собою все новые и новые черты сходства и простодушно сознаваясь, что даже слабости у них одинаковые.

— Ну вот хотя бы, — говорил он своему маленькому Лас-Казу: — Наполеон был страшно вспыльчив, и я тоже, особенно в молодости…

Например, как-то раз я повздорил в Театральном кафе с Костекальдом, хватил кулаком по его чашке, по своей и разбил их вдребезги…

— Бонапарт в Леобене!..[14] — робко заметил Паскалон.

— Совершенно верно, дитя мое, — ласково улыбнувшись, сказал Тартарен.

Но, если вдуматься, больше всего сближало Тартарена с императором воображение, пламенное южное воображение. Воображение Наполеона отличалось широчайшим размахом. Достаточно вспомнить его поход в Египет, переход через пустыню на верблюде, — еще одно потрясающее совпадение: верблюд! — поход в Россию, мечты о завоевании Индии.

Ну, а вся жизнь Тартарена — что это, как не самая невероятная сказка?.. Львы, нигилисты, Юнгфрау, управление островом за пять тысяч миль от Франции! Разумеется, Тартарен не отрицал, что кое в чем уступает императору. Но зато он не проливал крови, морей крови, и не приводил в трепет весь мир, как тот, другой…

Остров между тем уходил вдаль, а Тартарен,

---

[14] Примечания: 14

Имеются в виду мирные переговоры, которые Наполеон, тогда еще генерал Бонапарт, вел с австрийцами в Леобене (Штирия) после победоносного итальянского похода.

облокотившись о борт, продолжал разглагольствовать для галерки — для матросов, сметавших с палубы угольную пыль, и для вахтенных офицеров, подошедших его послушать.

В конце концов он всем наскучил. Паскалон отпросился на нос корабля, якобы для того, чтобы разузнать, что говорят о губернаторе тарасконцы, в полном оцепенении мокнувшие под дождем, а главное, для того, чтобы шепнуть своей милой Клоринде несколько утешительных и ободряющих слов.

Вернувшись через час, он нашел Тартарена в салоне, — его превосходительство во фланелевых кальсонах, повязав голову платком, устроился поудобнее на диване, точно это было в Тарасконе, в его уютном домике, покуривал трубочку и попивал превосходный шерри-гобблер.

— Ну, что же там говорят про меня добрые люди? — спросил отлично себя чувствовавший учитель.

Паскалон не скрыл от Тартарена, что они «очень на него злы».

Их, как скот, загнали на нижнюю палубу, морят голодом, грубо с ними обращаются, и во всех своих невзгодах они винят губернатора.

Но Тартарен только пожал плечами. Он хорошо

знает свой народ, уж вы ему поверьте! Все это высохнет в первое же солнечное утро.

— Народ не злопамятный, это верно, — согласился Паскалон, — но его мутит гадина Костекальд.

— Костекальд? Это еще что такое?.. При чем тут Костекальд?

Услыхав зловещее имя, Тартарен встревожился.

И тут Паскалон ему рассказал, как «Томагавк» встретил в море их общего недоброжелателя, умиравшего от голода и жажды в своей шлюпке, как он его подобрал и как потом Костекальд донес англичанам, что на их территории обосновались французские колонисты, и привел корабль к порт-тарасконскому рейду.

Глаза у губернатора засверкали:

— Ах, мерзавец!.. Ах, злодей!..

Успокоился он лишь после того, как Паскалон поведал ему злоключения бывшего сановника и его приспешников.

Трюфенюс утонул!.. Еще трое ратников сошли на берег за пресной водой — и попали к людоедам!.. Барбан умер от истощения прямо в лодке!.. А Рюжимабо съела акула.

— Какая там акула!.. Не акула, а сам негодяй

Костекальд.

— Это еще что, господин гу-убернатор!.. Костекальд уверяет, что в открытом море, во время грозы, он при блеске молний увидел — угадайте, кого?..

— Очень нужно мне угадывать! А ну его к черту!

— Тараска… отца-батюшку!

— Какая чепуха!..

А впрочем, как знать?.. «Туту-пампам» мог потерпеть крушение, или, быть может, порывом ветра Тараска сбросило с палубы…

Тут стюард принес господину губернатору меню, а через несколько минут он и его секретарь уже сидели за столом, и им был подан чудный обед с шампанским: отменная семга, розоватый ростбиф, превосходно зажаренный, а на сладкое — восхитительный пудинг. Тартарену пудинг очень понравился, и он велел отнести изрядную его порцию отцу Баталье и Бранкебальму. А Паскалон припрятал несколько бутербродов с семгой. Бедненький! Надо ли говорить, для кого?

На второй день плавания, как только Порт-Тараскон скрылся из виду, наступила хорошая погода, — можно было подумать, что из всего архипелага один этот остров навлекал на себя

туманы и дождь…

Каждое утро после завтрака Тартарен поднимался на палубу, садился на определенное место и заводил разговор с Паскалоном.

И у Наполеона, когда он находился на борту «Нортумберленда»[15], было свое любимое место: он опирался на пушку, всегда на одну и ту же, за что ее и прозвали «пушкой императора».

Думал ли об этом великий тарасконец? Какое это было совпадение: случайное или не случайное? Возможно, что и не случайное, но это обстоятельство не должно умалять Тартарена в наших глазах. Разве Наполеон, сдаваясь англичанам, скрывал, что он вспоминает Фемистокла?[16] «Я как Фемистокл…» А кто знает, о ком думал Фемистокл, подсаживаясь к огоньку, разведенному персами?.. Род человеческий до того стар! Мир его тесен, пути его исхожены… Все мы идем по чьим-либо стопам…

Впрочем, отдельные черты, о которых Тартарен

---

[15] Примечания: 15

«Нортумберленд» — фрегат, на котором англичане доставили Наполеона на остров св. Елены.

[16] Примечания: 16

Фемистокл (525-461 гг. до н.э.), политический руководитель Афин, победитель персов, из-за разногласий с консервативной партией был изгнан в 472 году из Афин и поселился у своих былых врагов — персов. Наполеон, вступив на палубу «Беллерофонта», сказал: «Я как Фемистокл: я буду греться у очага британского народа».

упоминал в беседах со своим маленьким Лас-Казом, были присущи только ему, Тартарену из Тараскона, и к Наполеону никакого отношения не имели.

Тартарен говорил Паскалону о том, что детство свое он провел на Городском кругу; о том, что он, из молодых, да ранний, вытворял, возвращаясь ночью из Клуба; о том, что он сызмала бредил оружием, охотой на крупных хищников, но что здравый смысл латинянина не покидал его во время самых отчаянных шалостей, внутренний голос неизменно шептал ему: «Возвращайся пораньше, не простудись!..»

Из укромных уголков его памяти выплыла прогулка на Гарский мост, когда старая-престарая цыганка, посмотрев на линии его руки, предсказала:

— Когда-нибудь ты будешь королем.

Можете себе представить, как все потешались над ее предсказанием! А между тем оно сбылось.

Тут великий человек прервал себя:

— У меня, понимаете ли, получается ералаш — я ведь вам рассказываю не по порядку, а так, что вспомнится, но я думаю, что все это может вам пригодиться для «Мемориала»...

— Еще бы!

Помимо Паскалона, жадно впитывавшего в себя каждое слово своего героя, вокруг Тартарена усаживались молодые гардемарины, человек шесть, и с разинутым ртом слушали его рассказы.

Но самой внимательной его слушательницей была небрежно раскинувшаяся на бамбуковом шезлонге, чуть поодаль, жена командора, совсем юная, томная изящная креолка с бледно-розовым цветом лица, напоминавшим магнолию, и с большими черными глазами, задумчивыми, глубокими, ласковыми… Она просто упивалась повестями Тартарена.

Гордый за своего наставника, которого все слушали с таким живым любопытством, Паскалон стремился прославить его еще больше и заставлял рассказывать про охоту на львов, про восхождение на Юнгфрау, про оборону Пампериγуста. И герой наш со свойственным ему простодушием шел на этот невинный сговор, сам увлекался и позволял перелистывать себя, как книгу, как книжку с картинками, иллюстрированную его выразительной тарасконской мимикой и «бах-бахами» его охотничьих приключений.

Креолка, зябко поеживаясь на шезлонге,

вздрагивала при каждом его восклицании, и ее волнение означалось чуть заметным приливом розовой краски, легчайшими мазками ложившейся на ее акварельно нежное лицо.

Когда же за ней приходил ее муж, командор, похожий на Гудсона Лоу, с лицом злой куницы, она умоляла его: «Нет, нет!.. Погодите», — украдкой бросала взор на великого тарасконца, и тарасконец ловил этот взор и нарочно для нее возвышал голос, стараясь придать ему какую-то особенно благородную интонацию и звучание.

Иной раз, возвращаясь после такой беседы к себе в каюту, он с небрежным видом спрашивал Паскалона:

— Что вам сказала супруга командора? Она, кажется, говорила обо мне? А?..

— Вы правы, учи-итель. Эта особа сказала мне, что она много о вас слышала.

— Это меня не удивляет, — не моргнув глазом, замечал Тартарен. — Я очень популярен в Англии[17].

Еще одна черта сходства с Наполеоном!

---

[17] Примечания: 17

Тартарен утверждает это с полным основанием: первые две книги его приключений выдержали в Англии несколько изданий. Английское издание «Порт-Тараскона» появилось одновременно с французским; перевод был сделан известным англо-американским писателем Генри Джеймсом, приятелем Доде.

Однажды утром, поднявшись на палубу спозаранку, он, к крайнему своему изумлению, не нашел креолки на ее обычном месте. Но он тут же себя успокоил: день нынче ветреный, холодновато, брызги долетают до юта, оттого она, наверное, и не вышла: ведь она такая хрупкая, такая впечатлительная!

Казалось, волнение, поднявшееся на море, охватило всю палубу и весь экипаж.

Дело в том, что с парохода заметили кита — явление в тех местах довольно-таки редкое. Дыхал у него не было, и фонтанов он не пускал, из чего некоторые матросы заключили, что это самка, тогда как другие утверждали, что это кит особой породы. Обе стороны остались при своем мнении.

Кит находился как раз на пути следования корабля и податься в сторону не собирался, а потому один из офицеров пошел к капитану просить разрешения поохотиться. Капитан, по обыкновению злой, как черт, отказал на том основании, что нельзя терять драгоценное время, и позволил лишь в него пострелять.

До кита оставалось метров двести пятьдесят — триста, и он то показывался, то исчезал по прихоти сильной и бурной волны, так что попасть в

него было нелегко.

Раз за разом гремели выстрелы, об успехе которых сообщали стоявшие на вантах марсовые, но кит оставался невредим, по-прежнему резвился и плескался на поверхности, и все на него смотрели, даже тарасконцы, хотя они мокли и дрогли на носу, так как волна окатывала там сильнее, чем на корме, где стояли джентльмены.

Присоединившись к молодым офицерам, пробовавшим свою меткость, Тартарен давал оценку выстрелам:

— Перелет!.. Недолет!..

— Попробуйте вы, учи-итель! — проблеял Паскалон.

При этих словах один из гардемаринов с юношеской живостью обратился к Тартарену:

— Пожалуйста, господин губернатор!

И протянул ему свой карабин. Надо было видеть Тартарена в ту минуту, когда он взял карабин, взвесил его на ладони и приставил к плечу. А Паскалон с гордым и в то же время робким выражением лица задал ему вопрос:

— Сколько раз надо отсчитать, когда стреляешь в кита?

— На эту дичь мне редко приходилось охотиться, — ответил герой, — но, по-моему, надо считать

до десяти.

Тут он прицелился, отсчитал до десяти и, выстрелив, отдал карабин офицеру.

— Кажется, попали! — сказал гардемарин.

— Урраа!.. — закричали матросы.

— Я так и знал, — скромно заметил Тартарен.

Но тут послышался такой отчаянный вой, поднялась такая дикая суматоха, что на место происшествия прибежал сам капитан, которому показалось, будто на его судно напали пираты. На носу корабля топали ногами, размахивали руками, вопили, заглушая шум ветра и волн, тарасконцы:

— Тараск!.. Он стрелял в Тараска!.. В отца-батюшку!..

— А, чтоб!.. Что они городят? — бледнея, спросил Тартарен.

Теперь уже в десяти метрах от корабля безобразный идол Тараск из Тараскона вздымал над изумрудными волнами свою чешуйчатую спину, свою уродливую, как у химеры, голову с раскрашенными киноварью губами, кривившимися в злобной усмешке, и с налитыми кровью глазами.

Сделанный из крепчайшего дерева, сработанный на совесть, он выдерживал натиск волн с

того самого дня, когда, как это стало известно впоследствии, порывом ветра его сбросило с палубы корабля, находившегося под водительством Скрапушина. Он носился по воле морских зыбей, он залоснился, оброс водорослями и ракушками, но крушения не потерпел, бушевавшие над ним чудовищные ураганы не причинили ему ни малейшего вреда и ущерба, — первую и единственную рану нанес ему Тартарен из Тараскона…

Он! Ему!

На лбу у бедного «отца-батюшки» зияла свежая рана.

Кто-то из английских офицеров воскликнул:

— Лейтенант Шип! Посмотрите, какое смешное животное!

— Это Тараск, молодой человек, — торжественно изрек Тартарен, — это наш предок, пращур, чтимый всеми добрыми тарасконцами.

Офицер пришел в крайнее изумление, да и было от чего: оказалось, что этот урод — пращур странного народца, черномазого, усатого, подобранного на диком острове, в океане, за пять тысяч миль от родины.

Заговорив о Тараске, Тартарен в знак особого уважения снял шляпу, но «отец-батюшка», уноси-

мый волнами Тихого океана, уплыл уже далеко, и долго еще было ему суждено нетонущим обломком плыть по течению и оживать в рассказах моряков то гигантским спрутом, то морским змеем, к великому ужасу китоловов появляющимся то здесь, то там.

Пока Тараск не скрылся из глаз, герой наш молча смотрел ему вслед. Когда же от Тараска осталась лишь черная точка на фоне белеющих волн, он упавшим голосом произнес:

— Запомните, Паскалон: этот выстрел принесет мне несчастье!

И весь тот день он пребывал во власти тревожных дум, угрызений совести и священного ужаса.

II

Обед у командора. Тартарен выделывает па фарандолы. Как лейтенант Шип определил тип тарасконца. В виду Гибралтара. Месть Тараска

Неделю спустя, в жаркий и ясный полдень, когда тарасконцы приближались к благоуханным берегам Индии под небом все такого же

молочного цвета, по волнам все такого же тихого, маслянистого моря, как и тогда, по пути в Порт-Тараскон, Тартарен в одних кальсонах отдыхал у себя в каюте, повязав свою большую голову платком, белым в горошинку, и длинные-предлинные концы этого платка торчали у него, точно спокойные уши некоего жвачного животного.

Неожиданно в каюту вбежал Паскалон.

— А?.. Что такое?.. Что случилось? — буркнул великий человек и сорвал с головы платок; он не любил кому бы то ни было показываться в таком виде.

— Кажется, вы одержали победу, — выпучив глаза, с трудом переводя дух и сильнее, чем когда-либо, заикаясь, проговорил Паскалон.

— Над кем?.. Над Тараском?.. Дьявольщина, я это слишком хорошо знаю!

— Нет, — прошелестел Паскалон, — над супругой командора.

— Ай, ай, ай! Бедняжка! Еще одна!.. Да, но почему вы так думаете?

Вместо ответа Паскалон подал ему печатную карточку, из которой явствовало, что лорд командор Уильям Плантагенет и леди Уильям Плантагенет приглашают его превосходительство губернатора Тартарена и правителя канцелярии

г-на Паскалона сегодня у них отобедать.

— О, женщины, женщины!.. — воскликнул Тартарен; он сразу догадался, что приглашение исходило от жены командора, но никак не от ее мужа, который вряд ли был способен кого бы то ни было приглашать.

— Так как же, принять мне приглашение или не принять?.. — с важным видом спросил себя Тартарен. — Положение военнопленного…

Паскалон, знавший его слабую струнку, напомнил, что на борту «Нортумберленда» Наполеон обедал у адмирала.

— В таком случае я согласен, — поспешил заявить губернатор.

— Но как только подавали вина, император с дамами удалялся, — добавил Паскалон.

— Ну что ж, тем более! Ответьте в третьем лице, что мы принимаем приглашение.

— Во фраке, учитель?

— Разумеется.

Паскалон хотел было надеть плащ сановника первого класса, но наставник ему не позволил, — он сам решил не надевать орденской ленты.

— Приглашают не губернатора, а Тартарена, — пояснил он секретарю, — это разница.

Молодчина Тартарен разбирался буквально

во всем.

Обед, поистине царский, был сервирован в обширной, залитой светом, роскошно обставленной кают-компании, перегородки и пол которой были обшиты чудесной английской панелью, до того изящной, что ее планки, тончайшей филигранной работы, казались игрушечными.

Тартарен сидел на почетном месте, справа от леди Уильям. Приглашены на обед были еще только двое: лейтенант Шип и корабельный врач — оба понимали по-французски. За стулом каждого гостя с важным видом, вытянувшись в струнку, стоял лакей в нанковой ливрее. Особым великолепием отличались сервировка вин, высокопробное серебро с гербом Плантагенетов и стоявшая посреди стола драгоценная ваза с редкостными орхидеями.

Паскалон, на которого вся эта роскошь действовала подавляюще, заикался сильнее обычного еще и потому, что, когда к нему кто-нибудь обращался, рот у него, как нарочно, бывал набит. Он восхищался ненаигранным спокойствием Тартарена, как раз напротив которого сидел командор с оттопыренными, как у тигровой кошки, губами и с зелеными, в красных жилках, глазами, глядевшими из-под белых, как у всех альбиносов,

ресниц. Тартарен, хаживавший на крупных хищников, плевать хотел на тигровых кошек — он с таким увлечением и так мило ухаживал за леди Уильям, как будто командор был за тридевять земель отсюда. Миледи тоже не скрывала своей симпатии к герою и бросала на него нежные, многозначительные взгляды.

«Несчастные! Ведь муж-то все видит», — эта мысль не давала Паскалону покоя.

Но нет, муж ничего не видел, — казалось, он тоже с величайшим удовольствием слушает рассказы великого тарасконца.

По просьбе леди Уильям Тартарен рассказал историю Тараска, святой Марфы и голубой ленты. Рассказывал он о своем народе, о так называемом тарасконском племени, о его обычаях, о его переселении. Потом заговорил о своем образе правления, о своих планах, реформах, о новом кодексе, проект которого он разрабатывал. О кодексе он, между прочим, ни с кем до этого не говорил, даже с Паскалоном, но кто может угадать, что зреет в объемистых черепных коробках у властей предержащих?

Он высказывал глубокие мысли, он был в ударе, он спел несколько народных песен, в частности песню о том, как Жана Тарасконского взяли в

плен корсары и как он полюбил дочь султана.

Наклонившись к уху леди Уильям, каким страстным, вибрирующим полушепотом напевал он ей:

Он был полководец, в боях закаленный,
Сединой убеленный,
И лавры венчали его.
А дочь короля, молодая красотка,
Его полюбила
И молвила как-то ему…

Томная креолка, обыкновенно такая бледная, тут вдруг вся порозовела.

Когда он кончил петь, она спросила, что такое фарандола, о которой так много говорят тарасконцы.

— Ах, боже мой, это же так просто! Вот вы сейчас увидите!.. — воскликнул добрый Тартарен.

Не желая ни с кем делить лавры, он сказал своему секретарю:

— Сидите смирно, Паскалон.

Затем встал и принялся выделывать па в ритме фарандолы: «Тра-та-та-там, та-та-тим, та-та-там…» К несчастью, корабль в это время тряхнуло, — Тартарен грохнулся, но сейчас же вскочил и, не

унывая, первый посмеялся своей неудаче.

Несмотря на *cant*[18], несмотря на всю свою выдержку, англичане покатились со смеху и нашли, что губернатор просто очарователен.

Наконец подали вина. Леди Уильям сейчас же вышла, а следом за ней Тартарен, резким движением бросив салфетку, не поклонившись, не извинившись, строго придерживаясь легенды о Наполеоне, покинул кают-компанию.

Англичане в недоумении переглянулись и стали перешептываться.

— Его превосходительство вина не пьет… — сказал Паскалон; он счел необходимым объяснить выходку наставника и взять нить разговора в свои руки.

Секретарь тоже очень мило тарасконил, пил кларет, не отставая от англичан, развлекал их и потешал веселой болтовней и повышенной жестикуляцией.

Когда все встали из-за стола, он, будучи уверен, что Тартарен присоединился на палубе к леди Плантагенет, не без тайного умысла предложил командору, заядлому шахматисту, сыграть с ним партию.

---

[18] Примечания: 18
чопорность *(англ.)*

Два других гостя беседовали и покуривали возле них. Лейтенант Шип сказал на ухо доктору, по-видимому, что-то очень смешное, потому что доктор залился хохотом, а командор поднял голову и спросил:

— Что такое вам сказал лейтенант Шип?

Лейтенант повторил, и тут они все трое расхохотались еще громче, Паскалон же решительно ничего не мог понять.

А в это время наверху, овеваемый затихающим благовонным бризом, при ослепительном блеске заходящего солнца, купавшегося в море, игравшего на палубе и словно развесившего на всех снастях красную смородину, Тартарен, опершись о спинку кресла леди Уильям, рассказывал ей о своем романе с принцессой Лики-Рики и о том, как мучительно тяжело было им расставаться. Он знал, что женщины любят утешать и что поведать им муки наболевшего сердца — это лучший способ добиться успеха.

О, сцена прощания Тартарена с малюткой, которую сам Тартарен в таинственном полумраке рассказывал шепотом на ухо своей собеседнице! Кто не слыхал этого, тот вообще ничего не слыхал.

Я не берусь утверждать, что рассказ Тартарена

полностью соответствовал действительности, что эта сцена не была им хоть сколько-нибудь приукрашена. Во всяком случае, он повествовал о событиях так, как бы ему хотелось, чтобы они происходили: бедная принцесса, пылкая, страстная, в душе у которой шла борьба между дочерним долгом и супружеской верностью, в конце концов вцепилась в героя своими маленькими ручонками и голосом, полным отчаяния, крикнула: «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой!» А у него сердце обливалось кровью, но он отталкивал ее и вырывался из ее объятий: «Нет, дитя мое, так надо. Оставайся со своим старым отцом, — кроме тебя, у него никого нет…»

Рассказывая об этом, Тартарен самым настоящим образом плакал, и ему казалось, что прекрасные глаза креолки, устремленные на него, тоже наполняются слезами, а солнце в это время медленно погружалось в море и покидало горизонт, затопляемый фиолетовой мглой.

Внезапно к ним приблизились какие-то тени, и все очарование нарушил резкий, холодный голос командора:

— Поздно уже, дорогая, да и свежо, — идемте!

Она встала и, чуть заметно кивнув головой, вымолвила:

— Покойной ночи, господин Тартарен!

Он был потрясен той глубокой нежностью, какую она вложила в свои слова.

После этого он еще некоторое время прохаживался по палубе, и в ушах у него продолжало звучать: «Покойной ночи, господин Тартарен!» Но командор был прав: воздух быстро свежел, и Тартарен решил идти спать.

Проходя мимо маленького салона, Тартарен увидел в приотворенную дверь своего секретаря: тот с озабоченным видом сидел за столом, подперев одной рукой голову, а другой перелистывая словарь.

— Что это вы делаете, дитя мое?

Верный Паскалон рассказал ему о том, какое неприятное впечатление произвел его внезапный уход, о перешептывании возмущенных сотрапезников, а главное, о таинственной фразе лейтенанта Шипа, которую командор заставил его повторить и которая всех насмешила.

— Хоть я и недурно понимаю по-английски, а все-таки смысла не уловил, только слова запомнил и теперь пытаюсь уразуметь, что же означала вся фраза.

Выслушав доклад секретаря, Тартарен лег в постель, поудобнее, поуютнее вытянулся, повязал

голову платком, пододвинул к себе большущий стакан с апельсинной водой и, закурив трубку, которую он всегда выкуривал перед сном, спросил:

— Вы кончили перевод?

— Да, дорогой учитель: «В сущности тарасконец — это тот же француз, только в увеличенном, непомерно увеличенном виде, точно отраженный в зеркальном шаре».

— И вы говорите, что они над этим покатывались?

— Все трое: и лейтенант, и доктор, и сам командор — никто не мог удержаться от смеха.

Тартарен пожал плечами и изобразил на своем лице сожаление:

— Известно, что англичанам редко выпадает случай посмеяться, вот они и рады всякой ерунде! Ну, дитя мое, пора спать, до завтра!

Немного погодя оба они заснули, и во сне один из них увидел Клоринду, а другой — супругу командора, ибо Лики-Рики была уже далеко.

Дни шли за днями и складывались в недели, путешествие превращалось в прелестную, очаровательную прогулку, и Тартарен, так любивший возбуждать к себе симпатию, приводить в восхищение, все время ощущал вокруг себя эту атмосферу и наблюдал самые разнообразные

проявления этих чувств.

Он мог бы сказать о себе словами Виктора Жакмона[19], который в одном из своих писем выразился так: «Странно сложились мои отношения с англичанами! Эти люди, с виду такие бесстрастные, такие холодные друг с другом, мгновенно оттаивают от моей непринужденности. Они волей-неволей впервые в жизни становятся ласковы; я делаю их добрыми, я в двадцать четыре часа офранцуживаю любого англичанина».

На «Томагавке» все обожали Тартарена — и офицеры и матросы, обожали везде одинаково: и на носу и на корме. Всякие разговоры о том, что он военнопленный, что его дело будет передано в английский суд, были прекращены, — его собирались освободить в Гибралтаре.

А суровый командор, в восторге, что у него такой сильный партнер, как Паскалон, по вечерам часами держал злосчастного вздыхателя Клоринды за шахматной доской, чем приводил его в отчаяние, так как он не мог отнести Клоринде лакомые кусочки от своего обеда. Дело в том, что горемыки тарасконцы по-прежнему влачили в своей каторжной тюрьме жалкое существование

---

[19] Примечания: 19

Жакмон Виктор — известный французский путешественник *(Примеч. А. Доде.)*

эмигрантов, и для Тартарена это была пытка и мука — разливаясь соловьем на юте или же в печальный час заката ухаживая за леди Уильям, бросить случайный взгляд вниз и вдруг увидеть своих соотечественников, сбившихся в кучу, как убойный скот, под охраной часового, и с ужасом от него отворачивающихся, особенно явно после того, как он стрелял в Тараска.

Они не прощали губернатору его преступления, да и он сам не забыл этого выстрела, сулившего ему несчастье.

Уже прошли Малаккский пролив, Красное море, уже обогнули Сицилию, уже близок был Гибралтар.

Однажды утром показалась земля, и Тартарен с Паскалоном, призвав на помощь лакея, начали было укладывать вещи, как вдруг все ощутили толчок, какой бывает приостановке судна. «Томагавк» застопорил. Одновременно послышался приближающийся плеск весел.

— Посмотрите, Паскалон, — сказал Тартарен, — уж не лоцман ли это?..

В самом деле, к судну приставала шлюпка, но без лоцмана. На ней развевался французский флаг, в ней сидели французские матросы и еще два каких-то человека во всем черном и в высо-

ких шляпах. Тартарен взыграл духом:

— О! Французский флаг! Дайте мне посмотреть, дитя мое!

Он бросился к иллюминатору, но дверь внезапно отворилась, в каюту хлынули потоки света, и вслед за тем два полицейских чина в штатском платье, державшие себя грубо и нагло, предъявив приказ об аресте, разрешение на выдачу преступников и всякую прочую музыку, наложили лапу на несчастный «Существующий порядок» и на его секретаря.

Губернатор отшатнулся, побледнел и с достоинством произнес:

— Прошу не забываться — я Тартарен из Тараскона.

— Вас-то нам и надо!

И тут их обоих схватили — схватили без объяснения причин, оставив без ответа все их многочисленные вопросы, не потрудившись сообщить, в чем их преступление, за что их задержали и куда повезут. Сейчас они не испытывали ничего, кроме стыда, оттого что их вели в кандалах — им и правда надели наручники — мимо матросов, мимо гардемаринов, а затем, под смех и улюлюканье соотечественников, которые, перевесившись через борт, били в ладоши и кричали истошными

голосами: «Вот это здорово!.. Так им и надо!.. Так им и надо!..» — посадили в шлюпку.

Тартарен рад был очутиться на дне морском.

Из военнопленного, под стать Наполеону или Фемистоклу, превратиться в обыкновенного жулика!

А тут еще супруга командора на него смотрит!

Положительно, он был прав: Тараск ему за себя мстил, и мстил жестоко.

III
Продолжение Паскалонова «Мемориала»

5 июля. Тарасконская тюрьма на Роне. Я только что с допроса. Теперь я понял, в чем нас обвиняют, губернатора и меня, почему нас тогда так неожиданно взяли на «Томагавке», схватили в тот момент, когда мы были наверху блаженства, на седьмом небе, выловили, как двух лангустов на чистом дне морском, надели наручники, переправили на французский корабль, доставили в Марсель, оттуда в Тараскон и посадили в секретную.

Нам предъявили обвинение в мошенничестве, в непреднамеренном убийстве и в нарушении

закона об эмиграции. Ну, а как же я мог не нарушить этот треклятый закон, коли я до сих пор не подозревал о его существовании?

Два дня нас продержали в тюрьме, причем нам было строжайше запрещено вступать с кем-либо в разговоры, — а что может быть ужаснее для тарасконца? — и наконец вызвали в суд к следователю г-ну Бонарику.

Бонарик начал свою карьеру в Тарасконе лет десять тому назад, меня он прекрасно знает, сто раз приходил ко мне в аптеку, — я ему приготовлял мазь от хронической экземы на щеке.

Тем не менее я должен был сообщить ему мое имя, фамилию, возраст, профессию, как будто он в первый раз меня видит. Мне пришлось показывать буквально все, что я знаю по делу о Порт-Тарасконе, и говорил я битых два часа без передышки. Его секретарь за мной не поспевал — вот до чего я разошелся. Ну, а потом: «Подследственный! Можете удалиться». Даже «до свиданья» не сказал.

В коридоре суда я столкнулся с бедным губернатором — мы не виделись с того дня, как нас засадили в тюрьму. Он сильно изменился.

Он успел пожать мне руку на ходу и ласково молвил:

— Мужайтесь, дитя мое! Правда — что масло: всегда наверх всплывает.

Больше он ничего не мог мне сказать — полицейские толкали его в спину.

Его ведут полицейские!.. Тартарен в оковах, и где? В Тарасконе!.. И потом — этот гнев, эта ненависть всего народа!..

В ушах у меня всегда будут звучать неистовые крики черни, всегда я буду чувствовать на себе ее жаркое дыхание, никогда я не забуду, как нас обоих, рассадив по разным отделениям тюремной кареты, везли в тюрьму.

Видеть я ничего не мог, но рев толпы слышал. На Рыночной площади карета остановилась, — об этом я догадался по запаху, который вместе с полосками золотистого света просачивался в щели кареты, — и в запахе помидоров, баклажанов, кавальонских дынь, красного перца и крупного сладкого лука я ощущал дыхание нашего города. Я так давно не ел этих чудных вещей, и у меня слюнки потекли, как только я вдохнул их аромат.

Народу собралось столько, что лошадям негде было проехать. Тараскон по-прежнему многолюден, — можно подумать, что никто из тарасконцев не потонул, никто из них не был убит или

же съеден людоедами. Мне даже почудился голос землемера Камбалалета. Наверно, я ослышался, — ведь сам Безюке признался, что ел нашего незабвенного Камбалалета. Но что я слышал голос Экскурбаньеса — в этом я убежден. Тут уж нельзя было ошибиться — его голос покрывал все вопли:

— А ну, в воду его!.. В Рону! В Рону!.. *Двайте шумэть*! В воду Тартарена!..

Тартарена — в воду!.. Какой печальный исторический урок! Какая скорбная страница в «Мемориале»!

Я забыл упомянуть, что следователь вернул мне дневник, отобранный у меня на «Томагавке». Он сказал, что дневник представляет интерес, советовал мне продолжать, а по поводу нашего мрачного острова даже скаламбурил, улыбаясь в свои рыжие бакенбарды:

— Вы составили мемориал и описали остров Умориал.

Я сделал вид, что мне смешно.

С 5 по 15 июля. Тарасконская городская тюрьма находится в историческом замке с четырьмя башнями по углам, в старинном замке короля Рене — он стоит на берегу Роны и виден издалека.

Не везет нам с историческими замками. В

Швейцарии нас всех приняли за нигилистов, а славного Тартарена — за нашего главаря, и посадили в темницу Бонивара, в Шильонский замок.

Правда, здесь не так мрачно. Свету много, от реки тянет свежестью, и не льет дождь — не то что в Швейцарии или в Порт-Тарасконе.

Моя одиночка очень узкая: четыре оштукатуренных стены, железная койка, стол, стул. Солнечный свет проникает в зарешеченное окно, выходящее прямо на Рону.

Отсюда во время Великой революции бросали якобинцев в воду под звуки широко известной песни:

Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они...

А так как репертуар народных песен не очень богат, то и нам поют все тот же зловещий куплетец. Я не знаю, где поместили бедного губернатора, но и он, вероятно, слышит крики, несущиеся по вечерам с берегов Роны, и они не могут не навевать на него мрачных дум.

Хоть бы посадили-то нас с ним в одну камеру!.. Впрочем, откровенно говоря, по приезде сюда я испытываю некоторое облегчение, мне приятно побыть один на один с самим собой, привести

свои мысли в порядок.

Близость к великому человеку в конце концов до того утомительна! Он говорит с вами только о своей персоне и совершенно не входит в ваши интересы. На «Томагавке» я ни одной минуты не принадлежал себе, ни одной секунды не мог побыть с Клориндой. Сколько раз я говорил себе: «Она там!» Но улизнуть к ней мне не удавалось. Только пообедали — изволь играть в шахматы с командором, а потом весь остаток дня сиди около Тартарена: ведь после того, как я ему признался, что пишу «Мемориал», он не отпускал меня ни на шаг: «Напишите об этом… Не забудьте упомянуть о том-то…» И давай рассказывать случаи не только из своей жизни, а еще из жизни родителей, по правде сказать — мало интересные.

Не понимаю, как Лас-Каз мог это выдерживать несколько лет подряд! Император будил его в шесть часов утра, таскал за собой то пешком, то верхом, то в карете, и дорогой — пожалуйте: «Вы помните, Лас-Каз, на чем мы остановились?.. Ну так давайте дальше… Когда я подписал мирный договор в Кампо-Формио…»[20] У бедного

[20] Примечания: 20

Договор в Кампо-Формио — мирный договор между австрийцами и генералом Бонапартом, заключенный после его похода в Италию и отдававший в руки французов северную часть страны (1797 г.).

наперсника свои заботы: больной ребенок, жена, которую он оставил во Франции, но какое до этого дело императору? Ему бы только рассказать о себе, оправдаться перед Европой, перед всем миром, перед потомством — и так каждый день, каждый вечер, годами! Стало быть, настоящим мучеником был на Святой Елене не Наполеон, а Лас-Каз!

Я теперь от этой пытки избавлен. Бог свидетель, я этого не добивался, но нас с ним разъединили, и у меня есть теперь досуг подумать о себе, о моей горькой доле, о моей горячо любимой Клоринде.

Считает ли она меня виновным? Она-то нет, а вот ее семья, все эти Эспазеты д'Эскюдель де Ламбеск?.. В их кругу человек нетитулованный всегда виноват. Во всяком случае, у меня уже ничего не осталось от былого величия, и они ни за что не отдадут за меня Клоринду. Придется мне, как видно, вернуться к Безюке, в его аптеку на Малой площади, и опять заняться склянками… Вот она, слава!

17 июля. Никто не навещает меня в тюрьме, а это дурной знак. Стало быть, на меня так же злы, как и на моего учителя.

Единственное развлечение, которое я могу себе позволить в тюремной камере, — это влезть на

стол. Оттуда я смотрю в окно, и между прутьев решетки глазам моим открывается чудный вид.

Рона, дробя в своих водах солнечный свет, течет среди островков, покрытых взлохмаченной от ветра бледною зеленью. Быстролетными черными точками испещрили все небо стрижи. Их взвизги стремятся один другому вдогонку, то проносясь у самого моего окна, то падая с вышины, а внизу качается длинный висячий мост, до того легкий, что так и ждешь: вот сейчас ветер сорвет его и унесет, как шляпу.

По берегам стоят развалины старинных замков: Бокерского замка, у подножья которого прилепился город, Куртезонского, Вакейрасского. За их некогда толстыми, ныне осыпавшимися стенами устраивались «любовные турниры», и принцессы и королевы дарили свою любовь поэтам того времени — труверам, воспевавшим их, как ныне Паскалон воспевает свою Клоринду. Но, увы, какие с тех отдаленных времен произошли перемены! От дивных чертогов остались ныне лишь ямы, заросшие бурьяном, а поэты хотя и славят знатных дам и девушек, да девушки-то их поднимают на смех.

Зато не так уныло выглядит Бокерский канал: там тесными рядами все идут и идут зеленые и

желтые суда, а набережную усеяли красными пятнами мундиры разгуливающих офицеров, которых мне хорошо видно из моего высокого окна.

Бокерцы, наверно, радуются беде тарасконцев, падению нашей знаменитости, ибо слава Тартарена затмевала славу наших кичливых соседей.

Я помню, как в годы моего детства бокерцы похвалялись своею ярмаркой. Народ стекался к ним отовсюду — но только не из Тараскона: уж больно ненадежен висячий мост! Наплыв был огромный — на ярмарку съезжалось не менее пятисот тысяч душ!.. Однако год от году она редела. Бокерская ярмарка существует и поныне, но никто на нее не ездит.

В Бокере повсюду надписи: «Отдается внаймы… Отдается внаймы…» Если же случайно забредет туда путешественник или коммивояжер, то жители устраивают в его честь торжество: муниципальный совет встречает его с музыкой, бокерцы зазывают его к себе наперебой. С годами Бокер утратил свою былую славу, тогда как Тараскон приобрел известность… И все из-за Тартарена!

Вот о чем думал я, стоя на столе и глядя в окно. Солнце зашло, спустилась ночь, и вдруг на том

берегу Роны на башне Бокерского замка вспыхнул яркий огонь.

Он горел долго, а я долго смотрел, как в глубокой ночной тишине, которую лишь по временам колебали мягким шорохом крыльев орланы, ложился на Рону красноватый отблеск, и что-то таинственное чудилось мне в нем. Уж не сигнал ли это?

Быть может, это какой-нибудь поклонник нашего великого Тартарена хочет устроить ему побег?.. Нет, неспроста загорелся огонь на самом верху полуразрушенной башни как раз напротив его темницы!

18 июля. Проезжая сегодня с допроса в тюремной карете мимо церкви св. Марфы, я услышал голос маркизы дез Эспазет, голос по-прежнему властный, с характерным провансальским акцентом: «*Клорэнда!.. Клорэнда*!..» — а затем нежный, ангельский голосок моей возлюбленной: «Иду, мама!»

Наверно, она шла в церковь помолиться за меня, за благоприятный исход дела.

Вернулся я в тюрьму крайне взволнованный… Я даже написал на провансальском языке стихи о том, что эта встреча явится для меня счастливым предзнаменованием.

Вечером в тот же час опять на Бокерской башне загорелся огонь. Светит он во мраке, будто костер в Иванову ночь. Вне всякого сомнения, это сигнал.

Тартарен, с которым я перекинулся несколькими словами в коридоре суда, тоже видел огонь сквозь решетку своей тюрьмы, а когда я ему сказал, что, наверное, друзья хотят устроить ему побег, как Наполеону с острова Святой Елены, он был потрясен таким совпадением:

— Ах, вот оно что! Наполеону с острова Святой Елены… пытались устроить побег?

Однако, немного подумав, он заявил, что никогда на это не решится.

— Конечно, не спуск с башни в триста футов вышиной по веревочной лестнице, которую раскачивает ночной ветер с реки, пугает меня. Можете не сомневаться, дитя мое!.. Я боюсь другого; подумают, что я уклонился от ответственности. Нет, Тартарен из Тараскона не побежит!

Ах, если бы все те, кто кричит, когда он проезжает мимо: «А ну, в Рону его, в Рону!..» — могли слышать наш разговор!.. И его еще обвиняют в мошенничестве! Его сочли сообщником этого подлеца герцога Монского!.. Какой вздор!.. Ну на что это похоже?..

Между прочим, он уже не заступается за герцога, он раскусил поганого бельгийца! В невиновности Тартарена убедятся все, он сумеет себя защитить — дело в том, что на суде Тартарен сам будет себя защищать. Я же из-за своего заикания не могу выступать публично, и меня будет защищать Цицерон Бранкебальм, стяжавший себе славу той несокрушимой силой логики, какой отличаются его судебные речи.

20 июля вечером. Как мучительно тяжелы для меня допросы! Трудность заключается не в том, чтобы защитить себя, а в том, чтобы, защищая себя, не потопить моего бедного учителя. Он был так неосторожен, он так слепо доверял герцогу Монскому! А потом из-за перемежающейся экземы г-на Бонарика никогда не знаешь, бояться тебе или надеяться. Экзема — это у моего следователя пункт помешательства. «Выступила» — он лезет на стену, «не выступила» — он «душа-человек».

Вот у кого «выступила» и так никогда и не сойдет, это у несчастного Безюке: за морем татуировка ничуть ему не мешала, но здесь, под тарасконским небом, он сам себе стал противен, никуда не выходит, прячется от всех в своей лаборатории, приготовляет травяные настойки, омлеты и к посетителям выходит не иначе как

в бархатной маске, словно опереточный заговорщик.

До чего мужчины боятся физической боли, боятся всяких лишаев, пятен, экзем, — пожалуй, даже больше, чем женщины! Оттого-то, наверно, он так и злится на Тартарена — он видит в нем источник всех своих мучений.

24 июля. Вчера меня опять вызвали к г-ну Бонарику, — по-видимому, в последний раз. Он показал мне бутылку, найденную ронским рыбаком на одном из островов, и дал прочитать письмо, которое было в этой бутылке:

> «Тараскон. Городская тюрьма. Тартарену. Мужайся! Друг твой бодрствует на том берегу. Когда урочный час пробьет, он переправится. Одна из жертв герцога Монского».

Следователь спросил, знаком ли мне почерк. Я ответил, что не знаком, но так как всегда надо говорить правду, то прибавил, что кто-то уже однажды пытался завести таким образом переписку с Тартареном: перед нашим отъездом из Тараскона ему доставили точно такую же бутылку с письмом, но он не придал ей никакого значения, полагая, что кто-то над ним подшутил.

Следователь сказал: «Хорошо». А потом, как всегда: «Можете идти».

26 июля. Предварительное следствие закончилось; объявлено, что дело будет слушаться на ближайших днях. Город бурлит. Судебное разбирательство начнется, вероятно, 1 августа. Теперь я уже не буду спать до самого суда. Да я и так уже давно не сплю в этой узкой конурке, накаленной, как печка. Приходится на ночь оставлять окно открытым, но тогда нет отбою от комаров, а по углам скребутся крысы.

За последние дни я имел несколько свиданий с Цицероном Бранкебальмом. Он с большой горечью говорил о Тартарене. Я чувствую, что он на него обижен за то, что тот не поручил ему защищать себя. Бедный Тартарен! Все против него.

Состав суда, насколько мне известно, обновлен. Бранкебальм назвал мне фамилии судей: председатель суда — Мульяр, члены суда — Бекман и Робер дю Нор. Никакие знакомства нам не помогут. Говорят, все трое — нездешние. Да это и по фамилиям видно.

По непонятной мне причине из обвинительного акта исключены два пункта: непреднамеренное убийство и нарушение закона об эмиграции. Явке в суд подлежат: Тартарен из Тараскона,

герцог Монский — да, так он вам и явится! — и Паскаль Тестеньер, именуемый Паскалоном.

31 июля. Ночь провел в волнении и в тревоге. Завтра суд. Встал поздно. Смог только нацарапать на стене тарасконскую поговорку, слышанную мною не раз от Бравида, который знал их все до одной:

От бессонницы страдать,
Зря кого-нибудь прождать,
Без взаимности любить -
Что ужасней может быть?

IV

Судебный процесс на юге Франции. Сбивчивые показания. Тартарен клянется перед богом и людьми. Тарасконские узорщики. Рюжимабо съела акула. Неожиданный свидетель

Нет, прах их побери, судьи бедного Тартарена не были южанами! Чтобы убедиться в этом, достаточно было на них взглянуть в дышавший зноем августовский полдень в ломившейся от публики большой зале суда, где слушалось дело

Тартарена.

Надо вам сказать, что август в Тарасконе — месяц нестерпимо жаркий. Жарко, как в Алжире, и меры принимаются здесь против этой небесной кары такие же, как и в африканских городах: еще до полудня улицы пустеют, из казарм запрещено выходить, перед каждой лавкой навес. Но из-за процесса Тартарена все эти местные обычаи пришлось нарушить, а потому нетрудно вообразить температуру в переполненной зале суда, в глубине которой трибуны были битком набиты дамами в платьях с оборками и в шляпках с перьями.

Часы на башне суда пробили два. В высокие, настежь распахнутые окна, на которых были спущены длинные желтые шторы, вливались струистый, переливчатый свет, оглушительный треск цикад, укрывавшихся в тени кустов боярышника и платанов Городского круга — больших деревьев с белой листвой, белой от пыли, — гул толпы, оставшейся снаружи, и, как на арене перед боем быков, выкрики разносчиков: «Кому холодной воды?..»

Поистине, надо было быть тарасконцем, чтобы не изнемочь в духоте этой залы, а духота стояла такая, что ожидающий смертной казни — и тот,

кажется, заснул бы здесь во время чтения приговора. Судьи совсем задыхались; они, все трое, не привыкли к знойному югу: и председатель суда Мульяр, лионец, выглядевший на юге белой вороной, с продолговатой седой головой и строгим взглядом философа, одним своим видом нагонявший тоску, и два члена суда — Бекман из Лилля и прибывший с еще более дальнего севера Робер дю Нор.

Как только началось заседание, эти господа, сразу осовев, уставились на большие световые квадраты, вычертившиеся на желтых шторах, а во время бесконечно долгой проверки свидетелей, коих было со стороны обвинения никак не меньше двухсот пятидесяти, судьи уже спали вовсю.

Спали и полицейские — они тоже не были уроженцами юга, а их жестокосердное начальство не позволило им снять хотя бы часть их тяжеленной амуниции.

Разумеется, в таких условиях трудно было решить дело по справедливости. К счастью, судьи изучили его заранее, иначе сквозь дремоту вряд ли бы что-нибудь дошло до их сознания, кроме треска цикад да жужжания мух, сливавшегося с гудением человеческих голосов.

После парада свидетелей товарищ прокурора Бомпар дю Мазе начал читать обвинительное заключение.

Вот это уж был настоящий южанин! Низенький, пузатенький, лохматый, косматый, с бородкой, завивавшейся, как черные стружки, с глазами навыкате, словно кто-то изо всех сил треснул его по затылку, с глазами, налитыми кровью, будто ему только что ставили мушки, с металлическим голосом, от которого звенело в ушах. А уж мимика, а телодвижения!.. Это была краса и гордость тарасконской прокуратуры. Его приходили слушать за несколько миль. Но на сей раз особую остроту его обвинительной речи придавало его родство с пресловутым Бомпаром, одной из первых жертв порт-тарасконского предприятия.

Никогда еще обвинитель не был столь ожесточен, столь возбужден, столь несправедлив, столь пристрастен, но ведь в Тарасконе любят все будоражащее и громозвучное!

Как развенчивал он бедного Тартарена, сидевшего рядом со своим секретарем между двумя полицейскими! С пеной у рта, топорща закрученные усы, он в такие жалкие лохмотья превращал его славное прошлое!

Паскалон совсем растерялся и от стыда закрыл

лицо руками. Тартарен, напротив, слушал очень спокойно, с гордо поднятой головой и не отводя глаз в сторону, — он чувствовал, что его песня спета, что звезда его закатилась, он знал, что за взлетом обыкновенно следует падение — так уж устроен мир, — и был ко всему готов, а между тем Бомпар дю Мазе, все свирепея, обрисовывал его как самого заурядного мошенника, злоупотреблявшего своей призрачной славой, хваставшегося львами, которых он, вернее всего, и не убивал, восхождениями, которых он, вернее всего, и не совершал, связавшегося с авантюристом, с проходимцем, неким герцогом Монским, которого суд так и не мог разыскать. Он доказывал, что Тартарен еще хуже герцога Монского, — тот, по крайней мере, не эксплуатировал своих соотечественников, а Тартарен нажился на тарасконцах, обворовал их, зарезал без ножа, пустил по миру, довел до того, что они подбирали корки в помойных ямах.

— Впрочем, господа судьи, чего же еще можно ожидать от человека, стрелявшего в Тараска, нашего отца-батюшку?..

Эта заключительная часть его речи вызвала на трибунах патриотические рыдания, а с улицы им вторил рев толпы, ибо голос товарища прокурора,

пробив двери и окна, достиг и ее слуха. Сам же товарищ прокурора, потрясенный до глубины души звуками собственного голоса, зарыдал и заверещал так громко, что судьи мгновенно проснулись — им показалось, что от страшного ливня попадали все водосточные трубы и желоба.

Бомпар дю Мазе говорил пять часов подряд.

Хотя жара еще не спала, но как раз когда он кончил, свежий ветер с реки стал надувать желтые шторы на окнах. Председатель суда Мульяр больше уже не засыпал, — изумление, в которое его, недавно сюда прибывшего, повергла страсть тарасконцев к вымыслам, было так сильно, что он все время потом бодрствовал.

Сам Тартарен подал пример этого очаровательного в своей наивности вранья, которое составляет, так сказать, аромат, букет здешних мест.

Допрос Тартарена мы по необходимости даем здесь в сокращенном виде, но вот один из его любопытных моментов. Тартарен вскочил и, подняв руку, произнес:

— Перед богом и людьми клянусь, что я этого письма не писал.

Речь шла о письме, которое Тартарен прислал из Марселя редактору «Порт-тарасконской га-

зеты» Паскалону и в котором он подстегивал редактора и требовал, чтобы тот еще поддал пару, расписывая, как богат этот остров и какая там плодородная почва.

Нет, тысячу раз нет! Обвиняемый этого не писал. Он отрицает, он протестует.

— Не знаю, может быть, это герцог Монский, не явившийся в суд…

Как презрительно цедит он сквозь зубы это: «не явившийся в суд»!

Тут вмешивается председатель суда:

— Покажите письмо обвиняемому.

Тартарен берет письмо, смотрит и, как ни в чем не бывало, заявляет:

— Да, правда, это мой почерк. Письмо писал я, я позабыл.

При этих словах заплакал бы и тигр.

Немного погодя — еще один эпизод, с Паскалоном. На этот раз поводом послужила помещенная в вышеупомянутой газете статья о том, как принимали туземцы, король Негонко и первые поселенцы острова пассажиров с «Фарандолы» и «Люцифера» в порт-тарасконской ратуше, подробнейшим образом описанной автором.

Каждое слово статьи вызывало в зале дикий, неудержимый хохот, прерываемый воплями

негодования. Паскалон — и тот был вне себя; сидя на скамье подсудимых, он выражал глубокое возмущение: это не он, ни за что не поставил бы он своей подписи под такой заведомой ложью.

Ему сунули под нос напечатанную статью с рисунками, сделанными по его указаниям, подписанную его фамилией, и вдобавок его собственный черновик, найденный в типографии Тринклага.

— Потрясающе! — вытаращив глаза, сказал бедный Паскалон. — У меня это совсем вылетело из головы!

Тартарен вступился за своего секретаря:

— Дело в следующем, господин председатель суда: слепо веря всем россказням герцога Монского, не явившегося…

— Ну да, теперь валите на герцога Монского — он все свезет! — в бешенстве прервал его товарищ прокурора.

— Я давал этому несчастному ребенку, — продолжал Тартарен, — идею для статьи и говорил: «Вышейте мне по этой канве узоры». Он и разузоривал.

— Это верно, я только разу-узоривал… — робко пролепетал Паскалон.

Ох уж эти узорщики! Председатель суда Мульяр

понял, что это такое, во время опроса свидетелей: все они были тарасконцы, все до одного — сочинители, и все, как один, отказывались от того, что утверждали накануне.

— Но ведь вы же сами показывали это на предварительном следствии.

— Кто, я?.. А, да ну!.. Мне и во сне-то ничего подобного не снилось.

— Но вы же, однако, подписали.

— Подписал?.. Даже и не думал…

— Вот ваша подпись.

— Свят, свят, свят, а ведь и правда!.. Должен вам сказать, господин председатель суда, что я крайне изумлен.

И так было со всеми — никто не помнил своих показаний.

Судьи терялись, становились в тупик перед этими противоречиями, перед этой кажущейся недобросовестностью, ибо страсть к вымыслам, свойственная людям, населяющим страну солнечного света, и живость их воображения были недоступны холодным северянам.

С ошеломляющими сообщениями выступил Костекальд, — он показал, что его изгнали с острова, что из-за лихоимца и тирана Тартарена ему пришлось покинуть жену и детей. Потом, чего

стоила драма в шлюпке: его несчастные товарищи один за другим умирают страшной смертью. Рюжимабо захотелось освежиться он решил искупаться около самой шлюпки, внезапно к нему подплывает акула и разрывает его пополам.

— О, эта улыбка моего друга!.. Я вижу ее как сейчас. Он простирает ко мне руки, я плыву к нему, но вдруг по его лицу пробегает судорога, и он исчезает бесследно… лишь кровавый круг ширится на воде.

Костекальд дрожащею рукою обводит круг, а из глаз его текут слезы величиною с турецкий горох.

Услыхав фамилию Рюжимабо, Бекман и Робер дю Нор, как раз к этому времени очнувшиеся, наклонились к председателю, и пока стены суда сотрясались от громких рыданий публики, возбужденной рассказами Костекальда, три черные судейские шапочки все время покачивались из стороны в сторону.

Наконец председатель суда Мульяр задал свидетелю вопрос:

— Вы говорите, что Рюжимабо у вас на глазах съела акула. Но на суде только что упоминался в качестве свидетеля со стороны обвинения некий Рюжимабо, сегодня утром прибывший в Тарас-

кон… Это не тот?..

— Ну да, конечно!.. Это я и есть!.. — воскликнул бывший заместитель начальника сельскохозяйственного отдела.

— Как? Рюжимабо здесь? — не поведя бровью, сказал Костекальд. — Я его не видел, это для меня новость.

Тут одна из черных шапочек обратилась к нему с вопросом:

— Значит, он не был съеден, как вы только что утверждали?

— Я, видимо, спутал его с Трюфенюсом…

— Дьявольщина, я же здесь, вот он я, меня тоже никто не съел!.. — раздался возмущенный голос Трюфенюса.

Костекальда это начало раздражать.

— Да не все ли равно? — заявил он. — Я знаю наверное, что кто-то был съеден акулой, я видел круг.

И, как ни в чем не бывало, продолжал давать показания.

Прежде чем отпустить его, председатель суда поинтересовался, как велико, по подсчетам свидетеля, число жертв. На это свидетель ему ответил:

— По меньшей мере *срок* тысяч. (Вместо *сорок*

там говорят *срок*.)

Между тем по переписи значилось никак не более четырехсот островитян, а потому легко можно себе представить смятение председателя суда Мульяра и членов суда. Пот лил градом с этих несчастных — такого судебного разбирательства в их практике еще не было, никогда еще не приходилось им выслушивать столь противоречивые свидетельские показания. А свидетели все так же ожесточенно спорили, перебивали друг друга, вскакивали с мест, вырывали друг у друга признания, а вместе с признаниями, кажется, готовы были вырвать и языки. И все со скрежетом зубовным и сатанинским смехом! На этом фантастическом, трагикомическом процессе речь шла только о съеденных, утонувших, вареных, жареных, пареных, проглоченных, татуированных, изрубленных на мелкие куски тарасконцах, сидевших тут же, на одной скамье, живых и здоровых, целых и невредимых, не потерявших ни единого зуба, без единой ссадины на теле.

Два-три свидетеля до сих пор еще не явились, но так как их ждали с минуты на минуту и так как они наверняка были на одну стать со всеми прочими, то судебный следователь Бонарик, хорошо знавший нравы своих сограждан, убе-

дил председателя суда не поднимать вопроса о непреднамеренном убийстве.

А шумная и забавная вереница свидетелей все еще тянулась.

Публика тоже вела себя бурно: одних она освистывала, другим рукоплескала и без зазрения совести отвечала хохотом на ежеминутные угрозы председателя суда очистить залу, хотя, сбитый с толку всем этим гамом и неразберихой, он на самом деле и не думал очищать ее, а лишь, облокотившись на стол, то и дело хватался за свою раскалывавшуюся голову.

Воспользовавшись относительным затишьем, Робер дю Нор, высокий сухощавый старик с насмешливо поджатыми губами и длинными пушистыми седыми бакенбардами, в съехавшей на ухо шапочке, откинувшись на спинку кресла, проговорил:

— Короче, насколько я понимаю, не вернулся один Тараск.

При этих словах товарищ прокурора Бомпар дю Мазе неожиданно выпрыгнул, как чертик из коробочки:

— А мой дядя?..

— А Бомпар? — отозвалась вся зала.

— Я считаю своим долгом обратить внимание

суда, — трубным гласом продолжал товарищ прокурора, — что мой дядя Бомпар пал одной из первых жертв. Я из деликатности не упомянул о нем в обвинительной речи, но факт остается фактом, что он, во всяком случае, не вернулся и никогда больше не вернется…

— Извините, господин товарищ прокурора, — вмешался председатель суда, — но мне только что прислал свою карточку некий господин Бомпар, — он желает дать показания… Не ваш ли это дядя?

Да, это был его дядя, Бомпар Гонзаг.

Его имя, хорошо известное всем тарасконцам, вызвало невообразимый шум. Публика, свидетели, обвиняемые — все повскакали с мест, полезли на скамейки, вытянули шеи и, задыхаясь от нетерпения и любопытства, стали искать глазами Бомпара. По случаю такого переполоха председатель суда Мульяр объявил на несколько минут перерыв, и во время перерыва из залы пришлось вынести человек десять потерявших сознание полицейских, полумертвых от духоты и от бестолочи.

V

Бомпар перешел мост. История письма за пятью красными печатями. Бомпар призывает, в свидетели весь Тараскон, но на его призыв никто не откликается. «Да прочтите же нам наконец письмо, черт бы вас побрал!» Лгуны северные и лгуны южные

— Это он, это Гонзаг!.. Глянь! Глянь!

— Как же он раздобрел!

— Какой же он бледный!

— Он стал похож на *тэрка*!

Тарасконцы давно его не видели, и теперь им трудно было его узнать: их славный Бомпар, прежде очень худой, с головой усатого палликара[21] и с глазами как у бешеной козы, теперь раздался, его «разнесло», как принято говорить в Тарасконе, но усы у него были все такие же длинные и такие же безумные глаза на расплывшемся одутловатом лице.

Не глядя по сторонам, он шел за судебным при-

---

[21] Примечания: 21

Палликар (греч. — молодец, богатырь) — солдат греческих народных отрядов, боровшихся против Турции за независимость своей страны.

ставом к решетке.

Вопрос. Вы — Гонзаг Бомпар?

— По правде сказать, господин председатель суда, я уже начинаю в этом сомневаться, когда я вижу, — патетический жест в сторону скамьи подсудимых, — когда я вижу на этой позорной скамье нашу незапятнанную славу, когда я слышу, как оплевывают за этой решеткой олицетворение честности и глубокой порядочности…

— Спасибо, Гонзаг! — сдавленным от волнения голосом крикнул с места Тартарен.

Все оскорбления он переносил стойко, но сочувствие старого приятеля надрывало ему душу, и на глазах у него выступили слезы, как у ребенка, которого пожалели. А Бомпар между тем продолжал?

— Слушай, доблестный мой согражданин! Тебе не придется долго сидеть на этой поганой скамье, я принес доказательство… доказательство…

Пошарив в карманах, он вытащил оттуда марсельскую трубку, нож, старый кремень, огниво, клубок бечевки, метр, барометр, коробочку с гомеопатическими пилюльками и все это разложил на столе секретаря суда.

— Послушайте, свидетель Бомпар, когда же вы кончите? — нетерпеливо заметил председатель

суда.

Его поддержал товарищ прокурора Бомпар дю Мазе:

— Да, да, дядюшка, поскорее!

Дядюшка обернулся к нему:

— Ну, ну, смотри ты у меня! Я с тобой еще рассчитаюсь за все, что ты позволил себе сказать о моем бедном друге!.. Ты у меня дождешься: я тебя наследства лишу, подлец!

На племянника эта угроза не произвела впечатления, а дядюшка опять начал рыться в карманах и выкладывать целую коллекцию самых разнообразных предметов, но в конце концов он все же нашел искомое: это был большой конверт за пятью красными печатями.

— Вот, господин председатель суда, из этого документа явствует, что герцог Монский — последний негодяй, каторжник и...

Еще секунда — и посыпались бы забористые словца. Но председатель прервал его:

— Хорошо. Дайте сюда документ.

Он вскрыл таинственный конверт и, прочитав письмо, передал его членам суда, а те, уткнув в него носы, стали внимательно вчитываться, не показывая, однако, какое впечатление оно на них производит. Вот уж настоящие-то северные

судьи! Скрытные, замкнутые.

Но что же все-таки в этом треклятом письме? Ну да от таких типов разве добьешься толку?

Сидевшие в зале приподнимались, нагибались, приставив руку щитком к глазам, старались рассмотреть издали. Всю залу облетел вопрос:

— Что там такое? Что же это может быть, черт побери?

Так как двери и окна в суде были открыты, то все, что происходило здесь, немедленно вырывалось наружу, и оттого с Городского круга доносился сейчас грозный шум, слитный гул, по толпе пробегал трепет, точно зыбь на море, когда задувает ветер.

Полицейские теперь уже не спали, проснулись даже мухи, облепившие потолок, в залу вместе с вечерней прохладой врывался сквозняк, которого так боятся тарасконцы, и те из них, что сидели ближе к окнам, потребовали, чтобы их закрыли, «а то ведь тут насмерть распростудишься».

В сотый раз председатель суда взвизгнул!

— Тише, иначе я велю очистить залу!

И опрос продолжался.

В о п р о с: Свидетель Бомпар! Как и когда попало к вам в руки это письмо?

О т в е т: Перед отправкой «Фарандолы» из

Марселя герцог, так называемый герцог Монский, назначил меня временно исполняющим обязанности порт-тарасконского губернатора и сунул мне в руки этот пакет, запечатанный пятью красными печатями, хотя денег в нем не было. Он мне сказал, что в этом пакете его последние распоряжения, и велел не вскрывать его, пока мы не дойдем до одного из Адмиралтейских островов, — вот только я не знаю, под сколькими градусами широты и долготы они находятся. Ну да на конверте это указано, можете посмотреть…

В о п р о с: Да, да, я вижу… Так что же было потом?

О т в е т: Потом, господин председатель суда, я, как вы знаете, внезапно заболел заразной, гнгррнозной и какой-то там еще болезнью, и меня, умирающего, высадили в Шато-д'Ифе[22]. На суше я корчился от боли, а письмо так и осталось у меня в кармане; болезнь отшибла у меня память, и, передавая свои полномочия Безюке, я забыл отдать ему письмо.

В о п р о с: Досадная забывчивость… Дальше?

О т в е т: Дальше, господин председатель суда, мне стало немножко легче, я уже мог встать и

---

[22] Примечания: 22

Шато-д'Иф — крепость на острове у входа в марсельскую гавань.

одеться, но еще не совсем поправился, — ах, если б вы видели, на что я был похож!.. И вот как-то раз сунул я руку в карман — глядь, конверт с красными печатями!..

П р е д с е д а т е л ь с у д а *(строго):* Свидетель Бомпар! Не правильнее ли будет сказать, что конверт, который вам было ведено распечатать за четыре тысячи миль от Франции, вы из любопытства предпочли вскрыть сейчас же, прямо в Марсельском порту, и, ознакомившись с содержанием письма, решили сложить с себя возложенную на вас колоссальную ответственность?

— Господин председатель суда! Вы не знаете Бомпара. Призываю в свидетели весь здесь присутствующий Тараскон.

Гробовое молчание было ответом на этот чисто ораторский прием. Бомпар, тот самый, которого сограждане прозвали Выдумщиком, хотя они и сами не отличались особой правдивостью, имел наглость призывать их в свидетели, что он никогда не лгал, и Тараскон на его призыв не откликнулся. Бомпар, однако, не смутился.

— Видите, господа судьи, — заявил он, — молчание — знак согласия…

И продолжал свой рассказ:

— Ну так вот, когда я нашел письмо, Безюке давно уже уехал, был уже далеко, передать ему письмо я не мог при всем желании. Тогда я решил прочитать письмо, и — представьте себе весь ужас моего положения!..

В еще более ужасном положении находилась сейчас публика, ибо она все еще не знала содержания лежавшего на столе письма, о котором здесь столько говорилось.

Все вытягивали шеи, но издали ничего не могли разглядеть, кроме невольно привлекавших к себе внимание красных печатей на конверте, который, казалось, вырастал на глазах во что-то громадное.

Бомпар продолжал:

— Позвольте вас спросить: что я должен был делать, узнав обо всех этих ужасах? Догонять «Фарандолу» вплавь? Я уж было думал, да побоялся, что сил не хватит. Помешать отправке «Туту-пампама», показать моим соотечественникам этот гнусный конверт, умерить их восторги, окатить их ушатом холодной воды? Но меня бы побили камнями. Одним словом, я, понимаете ли, испугался… Я уже не смел показаться в Тарасконе — я не знал, что мне там говорить. Тогда я решил укрыться как раз напротив, в Бокере, — оттуда

я-то мог все видеть, а меня бы никто не видел. Я занял там две должности: ярмарочного сторожа и смотрителя замка. Как вы сами понимаете, свободного времени у меня было достаточно. Поднявшись на старую башню, я в хорошую подзорную трубу наблюдал с того берега Роны за предотъездной суетой моих несчастных сограждан. И я сокрушался, убивался… Я простирал к ним руки, издали кричал им, как будто они могли меня услышать: «Стойте!.. Не уезжайте!..» Я пытался даже предостеречь их при помощи бутылки… Скажите им, Тартарен, скажите этим господам, что я пытался вас предостеречь!

— Подтверждаю! — сидя на своей позорной скамье, заявил Тартарен.

— Ах, господин председатель суда! Как тяжело мне было смотреть на «Туту-пампам», отбывающий в эту призрачную страну!.. Но мне стало еще тяжелее, когда мои сограждане возвратились и когда я узнал, что на том берегу томится в оковах, брошенный, точно горсть рябины, на солому, мой прославленный соотечественник Тартарен. Знать, что он, оклеветанный, в этой башне!..

Конечно, вы можете мне возразить, что я должен был раньше представить доказательство его невиновности, но когда уж станешь на скользкий

путь, так потом черт знает как тяжко вернуться на правильный. Я начал с того, что промолчал, и мне все труднее и труднее было начать говорить, а кроме того, я боялся перейти мост, этот ужасный мост.

А все-таки я этот чертов мост перешел, прошел по нему нынче утром во время дикого урагана — я вынужден был ползти на четвереньках, как при восхождении на Монблан. Помните, Тартарен?

— Еще бы не помнить! — сожалея о своем славном прошлом, с горечью отозвался Тартарен.

— Как этот мост подо мною качался! Каких героических усилий стоил мне этот переход!.. Но я не люблю хвастаться. Одним словом, я здесь, перед вами, и я вам принес доказательство, доказательство неопровержимое.

— По-вашему, оно неопровержимо? — заметил Мульяр с присущим ему спокойствием. — А где у нас гарантия, что это странное письмо, завалявшееся у вас в кармане, действительно написано герцогом Монским или, вернее, так называемым герцогом Монским? Вам, тарасконцам, верить нельзя! За семь часов я столько наслушался лжи...

При этих словах глухое рычание, точно в клетках диких зверей, раздалось в зале, на трибунах

и докатилось до самого Городского круга.

Оскорбленный Тараскон выражал свое возмущение. А Гонзаг Бомпар только улыбнулся непередаваемой улыбкой:

— О себе, господин председатель суда, я бы не сказал, что в разговоре я чего-нибудь иной раз не присочиню, что меня можно было бы назначить директором бюро *Veritas*[23], — это было бы преувеличением. Но вы обратитесь к нему, — он указал на Тартарена, — правдивее этого человека нет во всем Тарасконе.

Тартарен без труда узнал почерк и подпись господина де Монса, так хорошо, к сожалению, ему знакомые. Затем он, все так же стоя, обратился к суду и, в ярости потрясая ужасной тайной за пятью красными печатями, сказал:

— Теперь, когда эта циничная бумажонка у меня в руках, я заклинаю вас, господин председатель суда, признать, что обманщики бывают не только на юге. И вы еще называете лгунами нас, тарасконцев! Нет, мы не лгуны, но у нас богатое воображение, мы говоруны, сочинители, разузориватели, неистощимые импровизаторы, напоенные соками нашей земли и солнечным

---

[23] Примечания: 23
истина *(лат.)*

светом, и мы сами попадаемся на удочку наших сногсшибательных, но невинных вымыслов.

Как не похожи мы на ваших северных лгунов, холодных, расчетливых, всегда преследующих какую-нибудь низкую цель, замышляющих, вроде автора этого письма, что-нибудь недоброе! О да, можно смело сказать, что по части лжи югу за севером не угнаться!..

В другое время Тартарен мог бы речью на такую тему потрясти тарасконскую публику. Но бедному великому человеку и его популярности пришел конец. Никто не слушал его. Всех занимало таинственное послание, которым он махал в воздухе.

Незадачливый оратор хотел еще что-то сказать, да не тут-то было.

Со всех сторон кричали:

— Письмо!.. Письмо!..

— А, да ну, возьмите же у него письмо!

— Пусть прочтет письмо!

Уступая настойчивости толпы, председатель суда Мульяр изрек:

— Секретарь! Огласите документ.

Могучий вздох облегчения пронесся по зале, и затем уже в наступившей тишине было слышно лишь жужжание августовских мух да треск

цикад, вторивших учащенному биению человеческих сердец.

Секретарь гнусавым голосом начал читать:

«Г-ну Гонзагу Бомпару, временно исполняющему обязанности губернатора Порт-Тарасконской колонии.

Вскрыть под 144°30′ восточной долготы на траверсе Адмиралтейских островов.

Любезный г-н Бомпар!

Всякой остроумной шутке бывает конец.

Немедленно поворачивайте на шестнадцать румбов и, не теряя спокойствия, везите ваших тарасконцев домой.

Ни острова, ни купчей крепости, ни Порт-Тараскона, ни аров, ни гектаров, ни винокуренных, ни сахарных заводов — ничего этого нет. Есть лишь блестящая финансовая операция, принесшая мне несколько миллионов, которые сейчас находятся в надежном месте, равно как и моя персона.

В сущности, это была милая тарасконада, которую ваши соотечественники во главе со знаменитым Тартареном, на-

деюсь, простят мне, — ведь она заняла их, развлекла и снова пробудила в них любовь к прелестному городку, который они было разлюбили.

Герцог Монский.

Никакой я не герцог и совсем не из Монса. Разве что из его окрестностей».

На этот раз угрозы председателя суда не оказали ни малейшего действия: в зале кричали, в зале орали, и этот рев вырвался на улицу, доплеснулся до Городского круга и эспланады, наполнил собою весь город! Ах, бельгиец, паршивый бельгиец, будь он здесь, его бы сейчас же из окна вниз головой — и в Рону!

Вопили мужчины, женщины, дети, и под этот вой председатель суда Мульяр вынес Тартарену и Паскалону оправдательный приговор, чем крайне огорчил Цицерона Бранкебальма, ибо выступление его так и не состоялось и все его verum enim vero, «поскольку» из «постольку», весь римский цемент его монументальной защитительной речи пропал даром.

Зала суда опустела, народ растекался по улицам, по Городскому кругу, по Большой и Малой площади и все еще изливал свой гнев в исступленных выкриках:

— Бельгиец!.. Паршивый бельгиец!.. Северный лгун!.. Северный лгун!..

VI
Продолжение и окончание Паскалонова «Мемориала»

8 октября. Вместе со службой в аптеке Безюке я вернул себе уважение сограждан и вновь, как прежде, зажил тихо и мирно на Малой площади, за желтым и зеленым шарами витрины, с той только разницей, что Безюке теперь прячется в лаборатории, точно не я ученик, а он, и яростно толчет пестиком в мраморной ступке свои снадобья. Время от времени он вынимает из кармана зеркальце и разглядывает татуировку. Несчастный Фердинанд! Ни мази, ни припарки ему не помогают, даже «суп с чесночком», который ему прописал доктор Турнатуар. Бесовская размалевка останется у него на всю жизнь.

Ну, а я отпускаю лекарства, наклеиваю ярлычки, продаю алоэ и ипекакуану, болтаю с посетителями и узнаю все городские сплетни. В базарные дни к нам приходит много народу: по вторникам и пятницам в аптеке полно. Сбор винограда идет хорошо, и крестьяне опять взялись

пичкать себя лекарствами и намикстуриваться. Жители окрестных сел это обожают. Принять слабительное — для них праздник.

В остальные дни у нас тихо, редко когда прозвонит колокольчик. В свободное время я рассматриваю надписи на больших стеклянных и фаянсовых банках, расставленных по полкам: *sirupus gummi, assa foetida*[24], и греческую надпись ΦΑΡΜΑΚΟΠΕΙΑ [фармакопея (греч.)] между двумя змеями над конторкой.

После стольких тревог и приключений приятно пожить в тишине и спокойствии. Я готовлю к печати том стихов на провансальском языке под названием «Ююбы». На севере ююба известна только как аптекарский товар — грудная ягода, а у нас это маленькие красные оливки, растущие на дереве со светлой листвой, и они так аппетитно похрустывают на зубах! Я соберу в этом томе мои стихи о природе, мои стихи о любви…

Ах! Я вижу Клоринду лишь изредка, когда она, высокая, стройная, проходит мимо аптеки, прыгая с одного булыжника Малой площади на другой, — на острове она это называла «походкой кенгуру». Она идет с молитвенником в руках к

---

[24] Примечания: 24
камедный сироп, асафетида *(лат.)*

поздней обедне, вместе с девицей Альрик, той самой, что громоздилась на крыши, а возвратившись в Тараскон, перешла от мадемуазель Турнатуар к дамам дез Эспазет. Ни разу Клоринда не посмотрела в сторону аптеки. Вернувшись к Безюке, я перестал для нее существовать.

Жизнь в городе вошла в привычную колею, тарасконцы ходят гулять на Городской круг, на эспланаду. Вечером идут в Клуб или в театр. Вернулись все, за исключением отца Баталье, который остался на Филиппинских островах, чтобы основать там новую общину «белых отцов». Обитель в Памперигусте мало-помалу оживает, туда вернулся, слава тебе, господи, его преподобие отец Везоль и еще кое-кто из иеромонахов, и колокола начали уже потихоньку позванивать, сперва один, потом другой. До трезвона еще дело не дошло, но, по всем признакам, мы его скоро услышим.

Теперь даже трудно себе представить, что за это время произошло столько событий! Как все это уже далеко и как быстро все забывает тарасконское племя! Вот уже наши охотники с маркизом дез Эспазетом во главе приоделись и каждое воскресное утро все так же неутомимо охотятся на несуществующую дичь.

А я по воскресеньям после завтрака отправляюсь засвидетельствовать свое почтение Тартарену. Вот он, домик с зелеными ставнями, стоящий на окраине города, вот и ящики маленьких чистильщиков обуви возле ограды, но везде все закрыто, везде тишина. Я отворяю калитку… Наш герой, заложив руки за спину, прогуливается по саду вокруг бассейна с красными рыбками или же сидит у себя в кабинете, окруженный криссами и отравленными стрелами. Но он даже не глядит на свою любимую коллекцию. Обстановка все та же, но как изменился человек! Хотя его и оправдали, но великий человек сам чувствует, что он пал, что он обесславлен, свергнут с пьедестала, и это его удручает.

Мы с ним беседуем. Иногда заходит доктор Турнатуар. В это печальное жилище он вносит свойственное ему оживление и шутки в духе Пургона[25]. Бранкебальм тоже бывает здесь по воскресеньям. Тартарен поручил ему защищать себя. Одна тяжба у него в Тулоне с капитаном Скрапушина, который требует оплатить ему доставку колонистов на родину, другая тяжба со вдовой Бравида, вчинившей ему иск от име-

---

[25] Примечания: 25

Пургон — врач из комедии Мольера «Мнимый больной» (1673).

ни своих несовершеннолетних детей. Если мой бедный добрый учитель проиграет оба процесса, то что же с ним будет? Ему уже столько стоила плачевная порт-тарасконская авантюра!

Как бы я хотел быть богатым!.. Безюке мне платит гроши, так что, увы! помочь Тартарену я не в состоянии.

10 октября. «Ююбы» выходят в Авиньоне у книгопродавца Руманийля — я счастлив. Еще одна приятная новость: 19-го числа сего месяца, в день св. Марфы, а также в честь возвращения тарасконцев во Францию будет устроена грандиозная кавалькада.

Местные поэты, Дурладур и я, должны представлять на аллегорической колеснице провансальскую поэзию.

20 октября. Вчера, в воскресенье, состоялась кавалькада. Поток колесниц, всадники в исторических костюмах, в руках у них длинные шесты с кошелями для сбора подаяний. Великое стечение народа, во всех окнах лица. А все-таки праздничного оживления, праздничного веселья не было. Вся изобретательность устроителей была не в силах заменить потерю нашего отца-батюшки. Чувствовалась зияющая пустота — недоставало колесницы с Тараском. При воспоминании о

злополучном выстреле, сразившем его в Тихом океане, поднималась глухая злоба. Когда кортеж поравнялся с домиком Тартарена, послышался ропот. Костекальдова шайка разными выкриками подстрекала толпу, так что маркиз дез Эспазет, ехавший в костюме тамплиера верхом на коне, вынужден был обернуться и цыкнуть:

— Перестаньте, господа!..

Вид у него был грозный, и порядок водворился тотчас же.

Дул холодный, северный ветер. Мы с Дурладуром в плащах эпохи Карла VI, которые нам дали напрокат оперные артисты, гастролирующие сейчас в Тарасконе, мерзли отчаянно. Мы сидели на башне — наша колесница, запряженная шестью белыми быками, изображала замок короля Рене, причем самый замок был сделан из дерева и раскрашенного картона, — проклятый ветер пробирал нас до костей, и стихи, которые мы читали, держа в руках огромные лютни, так же дрожали от холода, как и мы сами.

— А, чтоб!.. Вот холодище! — твердил Дурладур.

А слезть нельзя: лестницы, по которым мы сюда взобрались, убраны.

На Городском кругу эта пытка стала уже совсем

невыносимой… В довершение всего мне пришла мысль — вот что значит тщеславие влюбленного! — свернуть вбок и проехать мимо дома маркиза дез Эспазета.

И вот мы двинулись по улицам, до того узким, что там могла проехать только одна наша колесница. Угрюмый и безмолвный особняк маркиза, притаившийся за стеной из темного камня, был заперт, и все ставни на его окнах были закрыты как бы в знак того, что высший круг презирает развлечения меньшой братии.

Дрожащим голосом, протягивая кошель за подаянием, прочитал я стихи из «Ююб», но в доме никто не пошевельнулся, никто не выглянул. Тогда я велел кучеру трогать. Не тут-то было: колесница ни с места, ее сдавило с обеих сторон. Попробовали сдвинуть — ни взад, ни вперед, застряла между двумя высокими стенами, и мы торчим этакими чучелами на картонных башнях, дрогнем от холода, а совсем близко от нас, на той же высоте, за закрытыми ставнями звучит чей-то приглушенный смех.

Положительно, замок короля Рене не принес мне счастья! Пока-то распрягли быков, пока-то притащили лестницы, чтобы нам можно было спуститься, — все это заняло столько времени!..

23 октября. Что такое жажда славы? Кто познал славу хотя бы однажды, тот уже не может без нее жить.

В воскресенье я был у Тартарена. Мы беседовали с ним в саду, гуляя по дорожкам, усыпанным песком, и вороха сухих листьев сыпались на нас из-за ограды с деревьев Городского круга. Глаза у Тартарена были грустные, и, заметив это, я напомнил ему о днях его торжества. Но ничто не могло утешить его, даже черты сходства между ним и Наполеоном.

— А, какой там Наполеон!.. Чепуха!.. Это солнце тропиков напекло мне голову. Сделайте одолжение, не говорите со мной больше об этом, пожалуйста!

Я смотрел на него с изумлением.

— А как же супруга командора…

— Ах, оставьте! Супруга командора все время надо мной смеялась!

Несколько шагов мы прошли молча.

Порывы ветра, крутившего листья, доносили до нас крики маленьких чистильщиков обуви, игравших за калиткой в пробки.

Немного погодя Тартарен мне сказал:

— Теперь мне все ясно. Тарасконцы раскрыли мне глаза, они как бы сняли с них катаракты.

Таким я никогда еще не видел Тартарена.

Проводив меня до калитки, он вдруг крепко сжал мне руку.

— Ты знаешь, мой мальчик, вот это все пойдет с молотка. Скрапушина выиграл у меня процесс, и вдова Бравида тоже, несмотря на все доводы Бранкебальма… Он славный малый, да только у него уж чересчур прочная кладка: его римский акведук рухнул и своей тяжестью придавил нас обоих.

Я робко предложил ему свои скромные сбережения. Я отдал бы их ему с радостью, но Тартарен отказался.

— Спасибо, дитя мое! Я надеюсь, что за оружие, за разные достопримечательности, за редкостные растения я выручу порядочную сумму. Если не хватит — продам дом. Словом, там видно будет. Прощай, мой мальчик… Это все пустяки.

Истинно философский взгляд на вещи!..

31 октября. Сегодня у меня тяжелый день. Я отпускал в аптеке лекарство жене Трюфенюса для ее ребенка, страдающего головными болями, но в это время на Малой площади заскрипели колеса, и я невольно поднял глаза. По звуку я сразу узнал рессорную колымагу вдовы д'Эгбулид. В карете сидела сама старуха, рядом с собой она

поместила чучело попугая, а напротив сидела моя Клоринда и еще кто-то, но кто именно — я так и не разглядел, оттого что стоял против света; мне бросились в глаза только голубой мундир и расшитое кепи.

— Кто это там с дамами?

— Внук вдовы, виконт Шарлексис д'Эгбулид, офицер егерского полка. Разве вы не знаете, что через месяц мадемуазель Клоринда должна с ним обвенчаться?

Меня это как громом поразило. Я стал бледен как смерть.

Ведь я все еще не терял надежды!

— О, это настоящий брак по любви! — продолжала терзать мое сердце г-жа Трюфенюс. — Но только вы слыхали когда-нибудь поговорку: «Брак по любви — веселые ночи да грустные дни»?

Ну что ж, а все-таки я лично ничего бы не имел против такого брака!

5 ноября. Вчера у Тартарена состоялась распродажа. Я-то сам там не был, но вечером зашел в аптеку Бранкебальм и рассказал мне все по порядку.

Это было, наверно, очень печальное зрелище. Распродажа ничего не дала Тартарену. Происхо-

дила она, как это у нас заведено, прямо у входа. И все пошло за сущую безделицу, а ведь народу собралось много. Оружие из разных стран, отравленные стрелы, кинжалы, ятаганы, револьверы, тридцатидвухзарядный винчестер — все пошло прахом... За бесценок пошли великолепная шкура атласского льва, альпеншток, этот его почетный посох — память о Юнгфрау; все диковины, все богатство, весь этот музей нашего города проданы за ничтожную цену... А все потому, что утрачена вера!..

А баобаб в горшочке, которым тридцать лет подряд любовалась вся округа! Когда его поставили на стол, когда оценщик объявил: «Arbos gigantea, целые селения могут поместиться под его тенью...» — в ответ раздался дикий хохот. Тартарен в это время гулял с двумя приятелями в садике, и смех до него долетел.

— Милым моим тарасконцам тоже сняли катаракты, — без всякой горечи сказал Тартарен. — Теперь они прозрели. Но они жестоки.

Печальнее всего, что распродажа дала очень мало, пришлось продать дом дез Эспазетам, которые приобрели его для молодых.

А куда же денется бедный великий человек? Перейдет ли он мост, как он сам туманно вы-

ражался? Приютит ли его в Бокере старый друг Бомпар?

В то время как Бранкебальм, стоя посреди аптеки, рисовал мне эту мрачную картину, из другой комнаты в полуотворенную дверь выглянул Безюке со своей неизгладимой разрисовкой и, хохоча, словно папуасский демон, крикнул:

— Как я рад!.. Как я рад!..

Можно подумать, что это Тартарен его татуировал.

7 ноября. Завтра, в воскресенье, мой дорогой учитель должен покинуть город и перейти мост… Как же так? Тартарен из Тараскона превратится в Тартарена из Бокера! Послушайте хотя бы, как это звучит… Совсем не то!.. И еще этот мост, ужасный мост! Мне хорошо известно, что Тартарен и не такие препятствия преодолевал… Все-таки на подобный шаг решаются в гневе, а потом берут свои слова обратно. Нет, я еще далеко не уверен!

10 декабря, воскресенье. Семь часов вечера. Я вернулся домой убитый горем. Едва хватит сил написать несколько слов в дневнике.

Все кончено, он ушел, он перешел мост.

Мы собрались проводить его вчетвером: Турнатуар, Бранкебальм, Бомвьейль и я, по дороге нас еще нагнал бывший ратник ополчения Мальбос.

У меня сердце сжималось от боли при виде голых стен и облетевшего сада. Тартарен даже не смотрел по сторонам.

Нас, тарасконцев, спасает наше непостоянство. Благодаря этому мы не так сильно горюем, как другие народы.

Ключи от дома он отдал Бранкебальму.

— Передайте ключи маркизу дез Эспазету, — сказал он. — Я на него не сержусь за то, что он не пришел проститься, — это естественно. Как говорил Бравида:

Вельможи любовь,
С бутылочкой дружба -
Все это ушло,
Назад не вернется.

И, обратившись ко мне, добавил:

— Тебе это тоже должно быть немножко знакомо, мой мальчик!

Трогателен был этот намек на Клоринду. В такой момент он все-таки подумал обо мне!

Когда мы вышли на Городской круг, поднялся сильный ветер. И все мы невольно подумали: «А как сейчас на мосту?»

А он, видимо, нисколько не был обеспокоен. Дул мистраль, и по этому случаю улицы как вымело.

Встретились нам только музыканты из военного оркестра, игравшего на эспланаде; громоздкие инструменты и без того стесняли их движения, а тут еще надо было одной рукой придерживать полы шинелей, распахивавшихся от ветра.

Тартарен цедил слова и шел с нами как будто бы на прогулку. По своему обыкновению, он говорил о себе, и только о себе:

— Я, знаете ли, болен местной болезнью. Уж очень я увлекался приглядкой!

«Приглядкой» у нас в Тарасконе называется все, что манит взор, все, к чему мы стремимся и что не дается нам в руки. Это пища мечтателей, людей, наделенных воображением. И Тартарен говорил правду: никто не посвящал столько досуга «приглядке», сколько он.

Я тащил чемодан, шляпную картонку и пальто моего героя, поэтому плелся сзади и слышал не все. Слова относил ветер, который, чем ближе мы подходили к Роне, становился все резче. Я уловил лишь, что Тартарен ни на кого не сердится и что он смотрит на свою жизнь взглядом все приемлющего философа:

— …Бездельник Доде написал обо мне, что я — Дон Кихот в обличье Санчо… Он прав. Этот тип Дон Кихота, напыщенного, изнеженного, ожирев-

шего, недостойного своей мечты, довольно часто встречается в Тарасконе и его окрестностях.

Дойдя до ближайшего поворота, мы увидели спину бежавшего Экскурбаньеса, — поравнявшись с магазином оружейника Костекальда, сегодня утром назначенного муниципальным советником, он заорал во всю глотку:

— Хо-хо!.. *Двайте шумэт*ь!.. Да здравствует Костекальд!

— Я и на него не в обиде, — сказал Тартарен. — Должен, однако, заметить, что Экскурбаньес — это воплощение худшего, что есть в тарасконском юге! Я имею в виду не его крики, — хотя, по правде сказать, он орет где надо и где не надо, — а его непомерное тщеславие, его угодливость, которая толкает его на самые низкие поступки. При Костекальде он кричит: «Тартарена в Рону!» Чтобы подольститься ко мне, он то же самое крикнет и о Костекальде. А не считая этого, дети мои, тарасконское племя — чудесное племя, без него Франция давно бы зачахла от педантизма и скуки.

Мы подошли к Роне. Прямо напротив нас догорал печальный закат, в вышине проплывали облака. Ветер словно бы утих, но все-таки мост был ненадежен. Мы остановились у самого мо-

ста, — Тартарен не уговаривал нас провожать его дальше.

— Ну, простимся, дети мои…

Он со всеми расцеловался — начал с Бомвьейля, как самого старшего, а кончил мною. Я обливался слезами и даже не мог вытереть их, потому что все еще держал чемодан и пальто, — слезы мои, можно сказать, выпил великий человек.

Тартарен был взволнован не меньше нас. Наконец он взял свои вещи: пальто на руку, картонку в одну руку, чемодан в другую.

— Смотрите, Тартарен, берегите себя!.. — сказал ему на прощанье Турнатуар. — Климат в Бокере нездоровый… В случае чего супцу с чесночком… Не забудьте!

На это ему Тартарен, подмигнув, ответил:

— Не беспокойтесь… Знаете, как говорят про одну старуху? «Чем больше старуха старела, тем больше старуха умнела — и помирать не хотела». Так вот и я.

Мы долго смотрели ему вслед, — он шел по мосту несколько грузным, но уверенным шагом. Мост так весь и качался у него под ногами. Несколько раз Тартарен останавливался и придерживал слетавшую шляпу.

Мы издали кричали ему, стоя на месте:

— Прощайте, Тартарен!

А он был так взволнован, что даже не оборачивался и в ответ не произносил ни слова, — он только махал нам картонкой, как бы говоря:

— Прощайте!.. Прощайте!..

Три месяца спустя. Воскресенье, вечер. Я вновь открываю свой «Мемориал», давно уже прерванный, эту старую зеленую тетрадь с измятыми уголками, начатую за пять тысяч миль от Франции, тетрадь, с которой я не расставался нигде, ни на море, ни в темнице, и которую я завещаю моим детям, если, конечно, они у меня будут. Тут еще осталось немножко места, и я этим воспользуюсь и запишу: нынче утром по городу разнеслась весть — Тартарен приказал долго жить!

Три месяца ничего о нем не было слышно. Я знал, что он живет в Бокере у Бомпара, помогает ему сторожить ярмарочное поле и охранять замок. В сущности говоря, это тоже «приглядка». Я скучал по моему дорогому учителю и все собирался навестить его, но из-за окаянного моста так и не собрался.

Как-то раз я смотрел издали на Бокерский замок, и показалось мне, что на самом-самом верху кто-то наводит на Тараскон подзорную трубу. По-видимому, это был Бомпар. Потом он ушел в

башню, но сейчас же вернулся с каким-то очень полным мужчиной, похожим на Тартарена. Полный мужчина посмотрел в подзорную трубу, а потом стал делать знаки руками, как будто он кого-то узнал. Но все это было так от меня далеко, все это было такое маленькое, едва-едва различимое, — вот почему этот случай очень скоро изгладился из моей памяти.

Сегодня с самого утра ко мне привязалась беспричинная тоска, а когда я пошел в город побриться — по воскресеньям я всегда бреюсь, — меня поразило небо, пасмурное, холодное, тусклое: в такие дни особенно четко вырисовываются деревья, скамейки, тротуары, дома. Войдя к цирюльнику Марку Аврелию, я поделился с ним своим впечатлением:

— Какое нынче странное солнце! Не светит и не греет… Уж не затмение ли?

— Как, господин Паскалон, разве вы не знаете?.. О затмении писали в газетах еще в начале месяца.

Марк Аврелий взял меня за нос и, поднеся бритву к самому моему лицу, спросил:

— Слыхали новость?.. Кажется, наш великий человек отправился на тот свет.

— Какой великий человек?

При слове «Тартарен» я вздрогнул и чуть было не порезался о Марк-Аврелиеву бритву.

— Вот что значит покинуть родину!.. Он не мог жить без Тараскона…

Цирюльник сказал истинную правду.

Жизнь без славы, жизнь без Тараскона — конечно, это была для Тартарена не жизнь.

Бедный дорогой учитель! Бедный великий Тартарен!.. Но какое же, однако, стечение обстоятельств!.. Солнечное затмение в день его смерти!

И до чего же чудной у нас народ! Бьюсь об заклад, что весь город тяжело переживает его кончину, но тарасконцы делают вид, что это им как с гуся вода.

А дело-то в том, что после истории с Порт-Тарасконом, в которой проявились их чересчур увлекающиеся, любящие все на свете преувеличивать натуры, они теперь стараются прослыть людьми в высшей степени трезвыми, в высшей степени уравновешенными, хотят показать, что они исправились.

Ну, а если говорить по чистой совести, то мы совсем не исправились, мы перегибаем палку в другую сторону, только и всего.

Мы уже не утверждаем: «Вчера в цирке было более пятидесяти тысяч зрителей». Мы утвер-

ждаем обратное: «Вчера в цирке было от силы человек шесть».

Но ведь это тоже преувеличение.

1890

КОММЕНТАРИИ

29 марта 1880 года французское правительство приняло декрет о роспуске многих монашеских конгрегации и о закрытии ряда монастырей. На католическом Юге этот декрет был встречен враждебно. Вскоре газеты сообщили о том, что жители Тараскона воспротивились закрытию соседнего аббатства Фриголе и даже попытались защищать его. Правительству пришлось выслать в Тараскон войска. Этого было достаточно, чтобы сломить сопротивление. Прочитав это сообщение, Доде сразу подумал, что душой такого предприятия мог бы быть Тартарен…

В 1887 году, уже после выхода в свет «Тартарена на Альпах», Доде по дороге из Ламалу проехал вместе со старшим сыном Леоном и поэтом Мистралем через «вражескую территорию» Тараскона (этот визит описан в начале предисловия). Однако, по свидетельству Леона, «старый лев с клювом и когтями не проявил ни малейшей враждебности»; наоборот, пока Доде ждал поезда, многие тарасконцы явились на вокзал пожать руку знаменитому писателю.

13 июня 1889 года Э.Гонкур записал, что Доде сообщил ему о своей работе над «Порт-Тарасконом». «Затея, по-моему, ненужная, — добавляет Гонкур, — у Доде всегда столько замыслов, а он

занимается третьим изданием типа, и так более чем достаточно показанного публике в первых частях». Однако пессимизм Гонкура был неоправдан: Доде сумел найти и новый материал, и новые краски для своего излюбленного героя.

Оборона аббатства Фриголе дала материал лишь для первого эпизода, но и в основе истории переселения тарасконцев лежит факт, хотя и не связанный непосредственно с Тарасконом. Это скандальная история колонии, именовавшейся Порт-Бретон. В конце 70-х годов некий бретонский дворянин, маркиз де Рэй, долгое время живший в Австралии и в Южной Америке, стал убеждать своих земляков переселиться на один из островов Тихого океана. Были выпущены акции, в колонию было отправлено четыре корабля с эмигрантами. Однако вместо обещанного земного рая колонисты нашли болота, непригодные для освоения и грозившие им лихорадкой. По возвращении незадачливых переселенцев маркиз де Рэй был арестован и приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве.

«Порт-Тараскон» вышел в 1890 году в издательстве Фламмариона и имел шумный успех. Вся Франция смеялась над новыми похождениями незадачливого героя. А между тем создавалась

эта книга во время страшных физических мук: болезнь спинного мозга, временами почти парализовывавшая Доде, в 1889 году обострилась от неправильного лечения.

В третьей книге Доде настойчиво проводит новую аналогию — аналогию между Тартареном и Наполеоном. Дело не только в том, что это дает писателю возможность блестяще пародировать «Мемориал св. Елены» Лас-Каза и развенчать еще одну бонапартистскую легенду. Корни такого сближения лежат глубже. Доде давно, еще со времени пребывания на Корсике, привлекал образ Наполеона, причем несколько необычными сторонами: писателя интересовал прежде всего Наполеон как воплощение типического характера южанина. Доде даже хотел написать о Наполеоне, изобразив его именно с этой точки зрения, но так и не осуществил своего намерения. И все же нельзя сказать, чтобы замысел его остался невоплощенным: Доде не показал читателю Наполеона-Тартарена, но зато дал ему Тартарена-Наполеона.

В «Порт-Тарасконе» еще заметнее та перемена отношения автора к своему герою, которая наметилась во второй части: он становится все более и более симпатичным и трогательным. Его буйная

фантазия, легковерие и легкомыслие, нелепая рыцарственность выигрывают в глазах читателя, когда они сопоставляются с буржуазным делячеством, скучной трезвостью чистогана, воплощением которых является мнимый герцог Монский. Дух самой необдуманной авантюры для Доде более приемлем, чем дух буржуазного предпринимательства. Поэтому так грустно звучат последние страницы романа: ведь смерть Тартарена — это смерть последнего Дон Кихота в европейской литературе.

«Порт-Тараскон» был впервые напечатан по-русски в 1890 году в журнале «Русская мысль» (NN 11-12). В том же году он вышел в двух номерах приложений к журналу «Правда» (NN 1-2).